

ЛОРЕНС СТЕРН
ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ
ТРИСТРАМА ШЕНДИ, ДЖЕНТЛЬМЕНА
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



Лоренс Стерн

**Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена**

Стерн Л.

Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена / Л. Стерн — 1767

Шедевром Стерна безоговорочно признан «Тристрам Шенди» (Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman). На первый взгляд роман представляется хаотической мешаниной занятных и драматических сцен, мастерски очерченных характеров, разнообразных сатирических выпадов и ярких, остроумных высказываний вперемежку с многочисленными типографскими трюками (указующие пальцы на полях, зачерненная («траурная») страница, обилие многозначительных курсивов). Рассказ постоянно уходит в сторону, перебивается забавными и порою рискованными историями, каковые щедро доставляет широкая начитанность автора. Отступления составляют ярчайшую примету «шендианского» стиля, объявляющего себя свободным от традиций и порядка. Критика (прежде всего С.Джонсон) резко осудила писательский произвол Стерна. На деле же план произведения был продуман и составлен куда более внимательно, чем казалось современникам и позднейшим викторианским критикам. «Писание книг, когда оно делается умело, – говорил Стерн, – равносильно беседе», и, рассказывая «историю», он следовал логике живого, содержательного «разговора» с читателем. Подходящее психологическое обоснование он нашел в учении Дж.Локка об ассоциации идей. Помимо разумно постигаемой связи идей и представлений, отмечал Локк, бывают их иррациональные связи (таковы суеверия). Стерн разбивал крупные временные отрезки на фрагменты, которые затем переставлял, сообразуясь с умонастроением своих персонажей, от этого его произведение – «отступательное, но и поступательное в одно и то же время». Герой романа Тристрам – вовсе не центральный персонаж, поскольку вплоть до третьего тома он пребывает в зародышевом состоянии, затем, в период раннего детства, возникает на страницах от случая к случаю, а завершающая часть книги посвящена уходу за его дядюшкой Тоби Шенди за вдовой Водмен, вообще имевшему место за несколько лет до рождения Тристрама. «Мнения» же, упомянутые в заголовке романа, по большинству принадлежат Вальтеру Шенди, отцу Тристрама, и дядюшке

Тоби. Любящие братья, они в то же время не понимают друг друга, поскольку Вальтер постоянно уходит в туманное теоретизирование, козыряя древними авторитетами, а не склонный к философии Тоби думает только о военных кампаниях. Читатели-современники объединяли Стерна с Рабле и Сервантесом, которым он открыто следовал, а позже выяснилось, что он был предвестником таких писателей, как Дж.Джойс, Вирджиния Вулф и У.Фолкнер, с их методом «потока сознания».

© Стерн Л., 1767

Содержание

Том первый	7
Глава I	8
Глава II	9
Глава III	10
Глава IV	11
Глава V	13
Глава VI	14
Глава VII	15
Глава VIII	16
Глава IX	17
Глава X	18
Глава XI	22
Глава XII	25
Глава XIII	28
Глава XIV	29
Глава XV	30
Глава XVI	32
Глава XVII	33
Глава XVIII	34
Глава XIX	37
Глава XX	40
Глава XXI	43
Глава XXII	47
Глава XXIII	49
Глава XXIV	51
Глава XXV	52
Том второй	53
Глава I	53
Глава II	55
Глава III	57
Глава IV	59
Глава V	60
Глава VI	63
Глава VII	64
Глава VIII	65
Глава IX	66
Глава X	68
Глава XI	69
Глава XII	70
Глава XIII	73
Глава XIV	74
Глава XV	76
Глава XVI	77
Глава XVII	78
Глава XVIII	90
Глава XIX	91

Том третий	96
Глава I	96
Конец ознакомительного фрагмента.	97
Том II	109

Том первый

*Ταρασσει τους Ἀνθρώπους οὐ τα Πράγματα,
'Αλλα τα περι των Πραγματων Δογματα!*

Досточтимому мистеру Питту²

Сэр,

Никогда еще бедняга-писатель не возлагал меньше надежд на свое посвящение, чем возлагаю я; ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, в уединенном доме под соломенной крышей, где я живу в постоянных усилиях веселостью оградить себя от недомоганий, причиняемых плохим здоровьем, и других жизненных зол, будучи твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более когда смеемся, – улыбка наша и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни.

Покорно прошу вас, сэр, оказать этой книге честь, взяв ее (не под защиту свою, она сама за себя постоит, но) с собой в деревню, и если мне когда-нибудь доведется услышать, что там она вызвала у вас улыбку, или можно будет предположить, что в тяжелую минуту она вас развлекла, я буду считать себя столь же счастливым, как министр, или, может быть, даже счастливее всех министров (за одним только исключением), о которых я когда-либо читал или слышал.

*Пребываю, великий муж
и (что более к вашей чести)
добрый человек,
вашим благожелателем и
почтительнейшим
соотечественником,*

АВТОР

Глава I

Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, – ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, – поразмыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, – и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарования и самый склад его ума – и даже, почем знать, судьба всего его рода – определяются их собственной натурой и самочувствием – – если бы они, должным образом все это взвесив и обдумав, соответственно поступили, – – то, я твердо убежден, я занимал бы совсем иное положение в свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Право же, добрые люди, это вовсе не такая маловажная вещь, как многие из вас думают; все вы, полагаю, слышали о жизненных духах³, о том, как они передаются от отца к сыну, и т. д. и т. д. – и многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, девять десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, девять десятых его успехов и неудач на этом свете зависят от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете, так что, когда они пущены в ход, – правильно или неправильно, безразлично, – они в суматохе несутся вперед, как угорелые, и, следуя вновь и вновь по одному и тому же пути, быстро обращают его в проторенную дорогу, ровную и гладкую, как садовая аллея, с которой, когда они к ней привыкнут, сам черт подчас не в силах их сбить.

– *Послушайте, дорогой*, – произнесла моя мать, – *вы не забыли завести часы? – Господи боже!* – воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, – *бывало ли когда-нибудь с сотворения мира*, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом? – Что же, скажите, разумел ваш батюшка? – – Ничего.

Глава II

– – Но я положительно не вижу ничего ни хорошего, ни дурного в этом вопросе. – – Но позвольте вам сказать, сэр, что он по меньшей мере был чрезвычайно неуместен, – потому что разогнал и рассеял жизненных духов, обязанностью которых было сопровождать *ГОМУНКУЛА*⁴, идя с ним рука об руку, чтобы в целости доставить к месту, назначенному для его приема.

Гомункул, сэр, в каком бы жалком и смешном свете он ни представлялся в наш легкомысленный век взорам глупости и предубеждения, – на взгляд разума, при научном подходе к делу, признается *существом*, огражденным принадлежащими ему правами. – – Философы ничтожно малого, которые, кстати сказать, обладают наиболее широкими умами (так что душа их обратно пропорциональна их интересам), неопровержимо нам доказывают, что *гомункул* создан той же рукой, – повинуется тем же законам природы, – наделен теми же свойствами и способностью к передвижению, как и мы; – – что, как и мы, он состоит из кожи, волос, жира, мяса, вен, артерий, связок, нервов, хрящей, костей, костного и головного мозга, желез, половых органов, крови, флегмы, желчи и сочленений; – – – является существом столь же деятельным – и во всех отношениях точно таким же нашим ближним, как английский лорд-канцлер. Ему можно оказать услуги, можно его обидеть, – можно дать ему удовлетворение; словом, ему присущи все притязания и права, которые Туллий⁵, Пуфендорф⁶ и лучшие писатели-моралисты признают вытекающими из человеческого достоинства и отношений между людьми.

А что, сэр, если в дороге с ним, одиноким, приключится какое-нибудь несчастье? – – или если от страха перед несчастьем, естественного в столь юном путешественнике, паренек мой достигнет места своего назначения в самом жалком виде, – – вконец измотав свою мышечную и мужскую силу, – приведя в неописуемое волнение собственных жизненных духов, – и если в таком плачевном состоянии расстройства нервов он пролежит девять долгих, долгих месяцев сряду, находясь во власти внезапных страхов или мрачных сновидений и картин фантазии? Страшно подумать, какой богатой почвой послужило бы все это для тысячи слабостей, телесных и душевных, от которых потом не могло бы окончательно его вылечить никакое искусство врача или философа.

Глава III

Приведенным анекдотом обязан я моему дяде, мистеру Тоби Шенди, которому отец мой, превосходный натурфилософ, очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах, часто горько жаловался на причиненный мне ущерб; в особенности же один раз, как хорошо помнил дядя Тоби, когда отец обратил внимание на странную косолапость (собственные его слова) моей манеры пускать волчок; разъяснив принципы, по которым я это делал, – старик покачал головой и юном, выразившим скорее огорчение, чем упрек, – сказал, что все это давно уже чужало его сердце и что как теперешнее, так и тысяча других наблюдений твердо его убеждают в том, что никогда я не буду думать и вести себя подобно другим детям. – – *Но, увы!* – продолжал он, снова покачав головой и утирая слезу, катившуюся по его щеке, – *несчастья моего Тристрама начались еще за девять месяцев до его появления на свет.*

Моя мать, сидевшая рядом, подняла глаза, – но так же мало поняла то, что хотел сказать отец, как ее спина, – зато мой дядя, мистер Тоби Шенди, который много раз уже слышал об этом, понял отца прекрасно.

Глава IV

Я знаю, что есть на свете читатели, – как и множество других добрых людей, вовсе ничего не читающих, – которые до тех пор не успокоятся, пока вы их не посвятите от начала до конца в тайны всего, что вас касается.

Только во внимание к этой их прихоти и потому, что я по природе не способен обмануть чьи-либо ожидания, я и углубился в такие подробности. А так как моя жизнь и мнения, вероятно, произведут некоторый шум в свете и, если предположения мои правильны, будут иметь успех среди людей всех званий, профессий и толков, – будут читаться не меньше, чем сам «Путь паломника»⁷, – пока им напоследок не выпадет участь, которой Монтень⁸ опасался для своих «Опытов», а именно – валяться на окнах гостиных, – то я считаю необходимым уделить немного внимания каждому по очереди и, следовательно, должен извиниться за то, что буду еще некоторое время следовать по избранному мной пути. Словом, я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, и могу рассказывать в ней обо всем, как говорит Гораций, *ab ovo*⁹.

Гораций, я знаю, не рекомендует этого приема; но почтенный этот муж говорит только об эпической поэме или о трагедии (забыл, о чем именно); – а если это, помимо всего прочего, и не так, прошу у мистера Горация извинения, – ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация.

А тем читателям, у которых нет желания углубляться в подобные вещи, я не могу дать лучшего совета, как предложить им пропустить остающуюся часть этой главы; ибо я заранее объявляю, что она написана только для людей пытливых и любознательных.

– – – – Затворите двери. – – – – Я был зачат в ночь с первого воскресенья на первый понедельник месяца марта, лета господня тысяча семьсот восемнадцатого. На этот счет у меня нет никаких сомнений. – А столь подробными сведениями относительно события, совершившегося до моего рождения, обязан я другому маленькому анекдоту, известному только в нашей семье, но ныне оглашаемому для лучшего уяснения этого пункта.

Надо вам сказать, что отец мой, который первоначально вел торговлю с Турцией, но несколько лет назад оставил дела, чтобы поселиться в родовом поместье в графстве *** и окончить там дни свои, – отец мой, полагаю, был одним из пунктуальнейших людей на свете во всем, как в делах своих, так и в развлечениях. Вот образчик его крайней точности, рабом которой он поистине был: уже много лет как он взял себе за правило в первый воскресный вечер каждого месяца, от начала и до конца года, – с такой же неукоснительностью, с какой наступал воскресный вечер, – собственноручно заводить большие часы, стоявшие у нас на верхней площадке черной лестницы. – А так как в пору, о которой я завел речь, ему шел шестой десяток, – то он мало-помалу перенес на этот вечер также и некоторые другие незначительные семейные дела; чтобы, как он часто говаривал дяде Тоби, отделаться от них всех сразу и чтобы они больше ему не докучали и не беспокоили его до конца месяца.

Но в этой пунктуальности была одна неприятная сторона, которая особенно больно сказала на мне и последствия которой, боюсь, я буду чувствовать до самой могилы, а именно: благодаря несчастной ассоциации идей, которые в действительности ничем между собой не связаны, бедная моя мать не могла слышать, как заводятся названные часы, – без того, чтобы ей сейчас же не приходили в голову мысли о кое-каких других вещах, – и *vice versa*¹⁰. Это странное сочетание представлений, как утверждает проникательный Локк¹¹, несомненно понимавший природу таких вещей лучше, чем другие люди, породило больше нелепых поступков, чем какие угодно другие причины для недоразумений.

Но это мимоходом.

Далее, из одной заметки в моей записной книжке, лежащей на столе передо мной, явствует, что «в день Благовещения, приходившийся на 25-е число того самого месяца, которым я помечаю мое зачатие, отец мой отправился в Лондон с моим старшим братом Бобби, чтобы определить его в Вестминстерскую школу¹²», а так как тот же источник свидетельствует, «что он вернулся к своей жене и семейству только на *второй неделе* мая», – то событие устанавливается почти с полной достоверностью. Впрочем, сказанное в начале следующей главы исключает на этот счет всякие сомнения.

– – – Но скажите, пожалуйста, сэръ, что делал ваш папаша в течение всего декабря, января и февраля? – Извольте, мадам, – все это время у него был приступ ишиаса.

Глава V

Пятого ноября 1718 года, то есть ровно через девять календарных месяцев после вышеустановленной даты, с точностью, которая удовлетворила бы резонные ожидания самого придиричивого мужа, – я, Тристрам Шенди, джентльмен, появился на свет на нашей шелудивой и злосчастной земле. – Я бы предпочел родиться на Луне или на какой-нибудь из планет (только не на Юпитере и не на Сатурне, потому что совершенно не переношу холода); ведь ни на одной из них (не поручусь, впрочем, за Венеру) мне заведомо не могло бы прийти хуже, чем на нашей грязной, дрянной планете, – которую я по совести считаю, чтобы не сказать хуже, сделанной из оскребков и обрезков всех прочих; – она, правда, достаточно хороша для тех, кто на ней родился с большим именем или с большим состоянием или кому удалось быть призванным на общественные посты и должности, дающие почет или власть; – но это ко мне не относится; – а так как каждый склонен судить о ярмарке по собственной выручке, – то я снова и снова объявляю землю дряннейшим из когда-либо созданных миров; – ведь, по чистой совести, могу сказать, что с той поры, как я впервые втянул в грудь воздух, и до сего часа, когда я едва в силах дышать вообще, по причине астмы, схваченной во время катанья на коньках против ветра во Фландрии, – я постоянно был игрушкой так называемой Фортуны; и хоть я не стану понапрасну пенять на нее, говоря, будто когда-нибудь она дала мне почувствовать тяжесть большого или из ряда вон выходящего горя, – все-таки, проявляя величайшую снисходительность, должен засвидетельствовать, что во все периоды моей жизни, на всех путях и перепутьях, где только она могла подступить ко мне, эта немилостивая владычица насылала на меня кучу самых при-
скорбных злоключений и невзгод, какие только выпадали на долю маленького *героя*.

Глава VI

В начале предыдущей главы я вам точно сообщил, *когда* я родился, – но я вам не сообщил, *как* это произошло. *Нет*; частность эта припасена целиком для отдельной главы; – кроме того, сэр, поскольку мы с вами люди в некотором роде совершенно чужие друг другу, было бы неудобно выложить вам сразу слишком много касающихся меня подробностей. – Вам придется чуточку потерпеть. Я затеял, видите ли, описать не только жизнь мою, но также и мои мнения, в надежде и в ожидании, что, узнав из первой мой характер и уяснив, что я за человек, вы почувствуете больше вкуса к последним. Когда вы побудете со мною дольше, легкое знакомство, которое мы сейчас завязываем, перейдет в короткие отношения, а последние, если кто-нибудь из нас не сделает какой-нибудь оплошности, закончатся дружбой. – – *O diem graeclarum!*¹³ – тогда ни одна мелочь, если она меня касается, не покажется вам пустой или рассказ о ней – скучным. Поэтому, дорогой друг и спутник, если вы найдете, что в начале моего повествования я несколько сдержан, – будьте ко мне снисходительны, – позвольте мне продолжать и вести рассказ по-своему, – – и если мне случится время от времени порезвиться дорогой – или порой надеть на минутку-другую шутовской колпак с колокольчиком, – не убегайте, – но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду, – и смейтесь со мной или надо мной, пока мы будем медленно трусить дальше; словом, делайте что угодно, – только не теряйте терпения.

Глава VII

В той же деревне, где жили мои отец и мать, жила повивальная бабка, сухощавая, честная, заботливая, домовитая, добрая старуха, которая с помощью малой толики простого здравого смысла и многолетней обширной практики, в которой она всегда полагалась не столько на собственные усилия, сколько на госпожу Природу, – приобрела в своем деле немалую известность в свете; – только я должен сейчас же довести до сведения вашей милости, что словом *свет* я здесь обозначаю не весь круг большого света, а лишь вписанный в него маленький? кружок около четырех английских миль в диаметре, центром которого служил домик нашей доброй старухи. – На сорок седьмом году жизни она осталась вдовой, без всяких средств, с тремя или четырьмя маленькими детьми, и так как была она в то время женщиной степенного вида, приличного поведения, – немногоречивой и к тому же возбуждавшей сострадание: безропотность, с которой она переносила свое горе, тем громче взывала к дружеской поддержке, – то над ней сжалилась жена приходского священника: последняя давно уже сетовала на неудобство, которое долгие годы приходилось терпеть пастве ее мужа, не имевшей возможности достать повивальную бабку, даже в самом крайнем случае, ближе, чем за шесть или семь миль, каковые семь миль в темные ночи и при скверных дорогах, – местность кругом представляла сплошь вязкую глину, – обращались почти в четырнадцать, что было иногда равносильно полному отсутствию на свете всяких повивальных бабок; вот сердобольной даме и пришло на ум, каким было бы благодеянием для всего прихода и особенно для бедной вдовы немного подучить ее повивальному искусству, чтобы она могла им кормиться. А так как ни одна женщина поблизости не могла бы привести этот план в исполнение лучше, чем его составительница, то жена священника самоотверженно сама взялась за дело и, благодаря своему влиянию на женскую часть прихода, без особого труда довела его до конца. По правде говоря, священник тоже принял участие в этом предприятии и, чтобы устроить все как полагается, то есть предоставить бедной женщине законные права на занятие делом, которому она обучалась у его жены, – с большой готовностью заплатил судебные пошлины за патент, составившие в общем восемнадцать шиллингов и четыре пенса; так что с помощью обоих супругов добрая женщина действительно и несомненно была введена в обязанности своей должности со всеми связанными с нею *правами, принадлежностями и полномочиями какого бы то ни было рода*.

Эти последние слова, надо вам сказать, не совпадали со старинной формулой, по которой обыкновенно составлялись такие патенты, привилегии и свидетельства, до сих пор выдававшиеся в подобных случаях сословию повивальных бабок. Они следовали изящной формуле Дидия¹⁴ его собственного изобретения; чувствуя необыкновенное пристрастие ломать и создавать заново всевозможные вещи подобного рода, он не только придумал эту тонкую поправку, но еще и уговорил многих, давно уже дипломированных, матрон из окрестных мест вновь представить свои патенты для внесения в них своей выдумки.

Признаться, никогда подобные причуды Дидия не возбуждали во мне зависти, – но у каждого свой вкус. Разве для доктора Кунастрокия¹⁵, этого великого человека, не было величайшим удовольствием на свете расчесывать в часы досуга ослиные хвосты и выдергивать зубами поседевшие волосы, хотя в кармане у него всегда лежали щипчики? Да, сэръ, если уж на то пошло, разве не было у мудрейших людей всех времен, не исключая самого Соломона, – разве не было у каждого из них своего *конька*: скаковых лошадей, – монет и ракушек, барабанов и труб, скрипок, палитр, – коконов и бабочек? – и покуда человек тихо и мирно скачет на своем *коньке* по большой дороге и не принуждает ни вас, ни меня сесть вместе с ним на этого конька, – скажите на милость, сэръ, какое нам или мне дело до этого?

Глава VIII

De gustibus non est disputandum¹⁶, – это значит, что о коньках не следует спорить; сам я редко это делаю, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом; ведь и мне случается порой, в иные фазы луны, бывать и скрипачом и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит; да будет вам известно, что я сам держу пару лошадок, на которых по очереди (мне все равно, кто об этом знает) частенько выезжаю погулять и подышать воздухом; – иногда даже, к стыду моему надо сознаться, я предпринимаю несколько более продолжительные прогулки, чем следовало бы на взгляд мудреца. Но все дело в том, что я не мудрец; – – – и, кроме того, человек настолько незначительный, что совершенно не важно, чем я занимаюсь; вот почему я редко волнуюсь или кипячусь по этому поводу, и покой мой не очень нарушается, когда я вижу таких важных господ и высоких особ, как нижеследующие, – таких, например, как милорды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П и так далее, всех подряд сидящими на своих различных коньках; – иные из них, отпустив стремена, движутся важным размеренным шагом, – – – другие, напротив, подогнув ноги к самому подбородку, с хлыстом в зубах, во весь опор мчатся, как пестрые жокеи-чертенята верхом на неприкаянных душах, – – – точно они решили сломать себе шею. – Тем лучше, – говорю я себе; – ведь если случится самое худшее, свет отлично без них обойдется; – а что касается остальных, – – – что ж, – – – помоги им бог, – – пусть себе катаются, я им мешать не буду; ведь если их сиятельства будут выбиты из седла сегодня вечером, – – ставлю десять против одного, что до наступления утра многие из них окажутся верхом на еще худших конях.

Таким образом, ни одна из этих странностей не способна нарушить мои покой. – – – Но есть случай, который, признаться, меня смущает, – именно, когда я вижу человека, рожденного для великих дел и, что служит еще больше к его чести, по природе своей всегда расположенного делать добро; – – когда я вижу человека, подобного вам, милорд, убеждения и поступки которого столь же чисты и благородны, как и его кровь, – и без которого по этой причине ни на мгновение не может обойтись развращенный свет; – когда я вижу, милорд, такого человека разъезжающим на своем коньке хотя бы минутой дольше срока, положенного ему моей любовью к родной стране и моей заботой о его славе, – то я, милорд, перестаю быть философом и в первом порыве благородного гнева посылаю к черту его *конька* со всеми коньками на свете.

Милорд,

Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычайность в трех самых существенных отношениях: в отношении содержания, формы и отведенного ему места; прошу вас поэтому принять его как таковое и позволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства, – если вы на них стоите, – что в вашей власти, когда вам угодно, – и что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод и, смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты.

Милорд,

вашего сиятельства покорнейший,

преданнейший

и низжайший слуга,

Тристрам Шенди.

Глава IX

Торжественно довожу до всеобщего сведения, что вышеприведенное посвящение не предназначалось ни для какого принца, прелата, папы или государя, – герцога, маркиза, графа, виконта или барона нашей или другой христианской страны; – а также не продавалось до сих пор на улицах и не предлагалось ни великим, ни малым людям ни публично, ни частным образом, ни прямо, ни косвенно; но является подлинно девственным посвящением, к которому не прикасалась еще ни одна живая душа.

Я так подробно останавливаюсь на этом пункте просто для того, чтобы устранить всякие нарекания или возражения против способа, каким я собираюсь извлечь из него побольше выгоды, а именно – пустив его честно в продажу с публичного торга; что я теперь и делаю.

Каждый автор отстаивает себя по-своему; – что до меня, то я терпеть не могу торговаться и препираться из-за нескольких гиней в темных передних, – и с самого начала решил про себя действовать с великими мира сего прямо и открыто, в надежде, что я таким образом всего лучше преуспею.

Итак, если во владениях его величества есть герцог, маркиз, граф, виконт или барон, который бы нуждался в складном, изящном посвящении и которому подошло бы вышеприведенное (кстати сказать, если оно мало-мальски не подойдет, я его оставлю у себя), – оно к его услугам за пятьдесят гиней; – что, уверяю вас, на двадцать гиней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием.

Если вы еще раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нем вовсе нет грубой лести, как в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство, превосходный, – краски прозрачные, – рисунок недурной, – или, если говорить более ученым языком – и оценивать мое произведение по принятой у живописцев 20-балльной системе, – то я думаю, милорд, что за контуры мне можно будет поставить 12, – за композицию 9, – за краски 6, – за экспрессию 13 с половиной, – а за замысел, – если предположить, милорд, что я понимаю свой *замысел* и что безусловно совершенный замысел оценивается цифрой 20, – я считаю, нельзя поставить меньше чем 19. Помимо всего этого – произведение мое отличается соответствием частей, и темные штрихи *конька* (который является фигурой второстепенной и служит как бы фоном для целого) чрезвычайно усиливают светлые тона, сосредоточенные на лице вашего сиятельства, и чудесно его оттеняют; – кроме того, на *tout ensemble*¹⁷ лежит печать оригинальности.

Будьте добры, досточтимый милорд, распорядиться, чтобы названная сумма была выплачена мистеру Додсли¹⁸ для вручения автору, и я позабочусь о том, чтобы в следующем издании глава эта была вычеркнута, а титулы, отличия, гербы и добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком, от слов: *de gustibus non est disputandum* – вместе со всем, что говорится в этой книге о *коньках*, но не больше, должна рассматриваться как посвящение вашему сиятельству. – Остальное посвящаю я Луне, которая, кстати сказать, из всех мыслимых *патронов* или *матрон* наиболее способна дать книге моей ход и свести от нее с ума весь свет.

Светлая богиня,

если ты не слишком занята делами *Кандида* и мисс *Кунигунды*¹⁹, – возьми под свое покровительство также *Тристрама Шенди*.

Глава X

Можно ли было считать хотя бы скромной заслугой помощь, оказанную повивальной бабке, и кому эта заслуга по праву принадлежала, – с первого взгляда представляется мало существенным для нашего рассказа; – – верно, однако же, то, что в то время честь эта была целиком приписана вышеупомянутой даме, жене священника. Но я, хоть убей, не могу отказаться от мысли, что и сам священник, пусть даже не ему первому пришел в голову весь этот план, – тем не менее, поскольку он принял в нем сердечное участие, как только был в него посвящен, и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, – что священник, повторяю, тоже имел право на некоторую долю хвалы, – если только ему не принадлежала добрая половина всей чести этого дела.

Свету угодно было в то время решить иначе.

Отложите в сторону книгу, и я дам вам полдня сроку на сколько-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света.

Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказанной вам истории с патентом повивальной бабки – священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во языцех окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана; – – он никогда не показывался верхом иначе, как на тощем, жалком одре, стоившем не больше одного фунта пятнадцати шиллингов; конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат *Росинанта* – так далеко простиралось между ними семейное сходство; ибо он решительно во всем подходил под описание коня ламанчского рыцаря, – с тем лишь различием, что, насколько мне помнится, нигде не сказано, чтобы *Росинант* страдал запалом; кроме того, *Росинант*, по счастливой привилегии большинства испанских коней, тучных и тощих, – был несомненно конем во всех отношениях.

Я очень хорошо знаю, что конь героя был конем целомудренным, и это, может быть, дало повод для противоположного мнения; однако столь же достоверно и то, что воздержание Росинанта (как это можно заключить из приключения с ингуасскими погонщиками²⁰) происходило не от какого-нибудь телесного недостатка или иной подобной причины, но единственно от умеренности и спокойного течения его крови. – И позвольте вам заметить, мадам, что на свете сплошь и рядом бывает целомудренное поведение, в пользу которого вы больше ничего не скажете, как ни старайтесь.

Но как бы там ни было, раз я поставил себе целью быть совершенно беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения, – я не мог умолчать об указанном различии в пользу коня Дон Кихота; – – во всех прочих отношениях конь священника, повторяю, был совершенным подобием Росинанта, – эта тощая, эта сухопарая, эта жалкая кляча пришлось бы под стать самому *Смирению*.

По мнению кое-каких людей недалекого ума, священник располагал полной возможностью принарядить своего коня; – ему принадлежало очень красивое кавалерийское седло, подбитое зеленым плюшем и украшенное двойным рядом гвоздей с серебряными шляпками, да пара блестящих медных стремян и вполне подходящий чепрак первосортного серого сукна с черной каймой по краям, заканчивающейся густой черной шелковой бахромой, *poudré d'or*²¹, – все это он приобрел в гордую весну своей жизни вместе с большой чеканной уздечкой, раскрашенной как полагается. – – Но, не желая делать свою лошадь посмешищем, он повесил все эти побрякушки за дверь своего рабочего кабинета и благоразумно снабдил ее вместо них такой уздечкой и таким седлом, которые в точности соответствовали внешности и цене его скакуна.

Во время своих поездок в таком виде по приходу и в гости к соседним помещикам священник – вы это легко поймете – имел случай слышать и видеть довольно много вещей, кото-

рые не давали ржаветь его философии. Сказать по правде, он не мог показаться ни в одной деревне, не привлекая к себе внимания всех ее обитателей, от мала до велика. – Работа останавливалась, когда он проезжал, – бадья повисала в воздух на середине колодца, – прятка забывала вертеться, – – – даже игравшие в орлянку и в мяч стояли, разинув рот, пока он не скрывался из виду; а так как лошадь его была не и быстроходных, то обыкновенно у него было довольно времени чтобы делать наблюдения – слышать ворчание людей серьезных – – и смех легкомысленных, – и все это он переносил с невозмутимым спокойствием. – Таков уж был его характер, – от всего сердца любил он шутки, – а так как и самому себе он представлялся смешным, то говорил, что не может сердиться на других за то, что они видят его в том же свете, в каком он с такой непререкаемостью видит себя сам вот почему, когда его друзья, знавшие, что любовь к деньгам не является его слабостью, без всякого стеснения потешались над его чудачеством, он предпочитал, – вместо того чтобы называть истинную причину, – хохотать вместе с ними над собой; и так как у него самого никогда не было на костях ни унции мяса и по части худобы он мог поспорить со своим конем, – то он подчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает всадник; – что оба они, подобно кентавру, составляют одно целое. А иной раз и в ином расположении духа, недоступном соблазнам ложного остроумия, – священник говорил, что чахотка скоро сведет его в могилу, и с большой серьезностью уверял, что он без содрогания и сильнейшего сердцебиения не в состоянии взглянуть на откормленную лошадь и что он выбрал себе тощую клячу не только для сохранения собственного спокойствия, но и для поддержания в себе бодрости.

Каждый раз он давал тысячи новых забавных и убедительных объяснений, почему смиренная, запаленная кляча была для него предпочтительнее горячего коня: – ведь на такой кляче он мог беззаботно сидеть и размышлять *de vanitate mundi et fuga saeculi*²² с таким же успехом, как если бы перед глазами у него находился череп; – мог проводить время в каких угодно занятиях, едучи медленным шагом, с такой же пользой, как в своем кабинете; – мог пополнить лишним доводом свою проповедь – или лишней дырой свои штаны – так же уверенно в своем седле, как в своем кресле, – между тем как быстрая рысь и медленное подыскание логических доводов являются движениями столь же несовместимыми, как остроумие и рассудительность. – Но на своем коне – он мог соединить и примирить все, что угодно, – мог предаться сочинению проповеди, отдаться мирному пищеварению и, если того требовала природа, мог также поддаться дремоте. – Словом, разговаривая на эту тему, священник ссылался на какие угодно причины, только не на истинную, – истинную же причину он скрывал из деликатности, считая, что она делает ему честь.

Истина же заключалась в следующем: в молодые годы, приблизительно в то время, когда были приобретены роскошное седло и уздечка, священник имел обыкновение или тщеславную прихоть, или назовите это как угодно, – впасть в противоположную крайность. – В местности, где он жил, о нем шла слава, что он любил хороших лошадей, и у него в конюшне обыкновенно стоял готовый к седлу конь, лучше которого не сыскать было во всем приходе. Между тем ближайшая повитуха, как я вам сказал, жила в семи милях от той деревни, и притом в бездорожном месте, – таким образом, не проходило недели, чтобы нашего бедного священника не потревожили слезной просьбой одолжить лошадь; и так как он не был жестокосерд, а нужда в помощи каждый раз была более острая и положение родильницы более тяжелое, – то, как он ни любил своего коня, все-таки никогда не в силах был отказать в просьбе; в результате конь его обыкновенно возвращался или с ободранными ногами, или с костным шпатом, или с подседом; – или надорванный, или с запалом, – словом, рано или поздно от животного оставались только кожа да кости; – так что каждые девять или десять месяцев священнику приходилось сбывать с рук плохого коня – и заменять его хорошим.

Каких размеров мог достигнуть убыток при таком балансе *communibus annis*²³, представляю определить специальному жюри из пострадавших при подобных же обстоятельствах; –

но как бы он ни был велик, герой наш много лет нес его безропотно, пока, наконец, после многократного повторения несчастных случаев этого рода, не нашел нужным подвергнуть дело тщательному обсуждению; взвесив все и мысленно подсчитав, он нашел убыток не только несоизмеренным с прочими своими расходами, но и независимо от них крайне тяжелым, лишившим его всякой возможности творить другие добрые дела у себя в приходе. Кроме того, он пришел к выводу, что даже на половину проезженных таким образом денег можно было бы сделать в десять раз больше добра; – – но еще гораздо важнее всех этих соображений, взятых вместе, было то, что теперь вся его благотворительность сосредоточена была в очень узкой области, притом в такой, где, по его мнению, в ней было меньше всего надобности, а именно: простиралась только на детопроизводящую и деторождающую часть его прихожан, так что ничего не оставалось ни для бессильных, – ни для престарелых, – ни для множества безотрадных явлений, почти: ежечасно им наблюдаемых, в которых сочетались бедность, болезни и горести.

По этим соображениям решил он прекратить расходы на лошадь, но видел только два способа начисто от них отделаться, – а именно: или поставить себе непреложным законом никогда больше не давать своего коня, невзирая ни на какие просьбы, – или же махнуть рукой и согласиться ездить на жалкой кляче, в которую обратили последнего его коня, со всеми ее болезнями и немощами.

Так как он не полагался на свою стойкость в первом случае, – – то с радостным сердцем избрал второй способ, и хотя отлично мог, как выше было сказано, дать ему лестное для себя объяснение, – однако именно по этой причине брезгал прибегать к нему, готовый лучше сносить презрение врагов и смех друзей, нежели испытывать мучительную неловкость, рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением.

Одна эта черта характера внушает мне самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя; я считаю, что ее можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ламанчского рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами, и чтобы его посетить, совершил бы гораздо более далекий путь, чем для встречи с величайшим героем древности.

Но не в этом мораль моей истории: рассказывая ее, я имел в виду изобразить поведение света во всем этом деле. – Ибо вы должны знать, что, покуда такое объяснение сделало бы священнику честь, – ни одна живая душа до него не додумалась: – враги его, я полагаю, не желали, а друзья не могли. – – – Но стоило ему только принять участие в хлопотах о помощи повивальной бабке и заплатить пошлины за право заниматься практикой, – как вся тайна вышла наружу; все лошади, которых он потерял, да в придачу к ним еще две лошади, которых он никогда не терял, и также все обстоятельства их гибели теперь стали известны наперечет и отчетливо припоминались. – Слух об этом распространился, как греческий огонь²⁴. – «У священника приступ прежней гордости; он снова собирается кататься на хорошей лошади; а если это так, то ясно как день, что уже в первый год он десятикратно покроет все издержки по оплате патента; – – каждый может теперь судить, с какими намерениями совершил он это доброе дело».

Каковы были его виды при совершении как этого, так и всех прочих дел его жизни – или, вернее, какого были об этом мнения другие люди – вот мысль, которая упорно держалась в его собственном мозгу и очень часто нарушала его покой, когда он нуждался в крепком сне.

Лет десять тому назад герою нашему посчастливилось избавиться от всяких тревог на этот счет, – как раз столько же времени прошло с тех пор, как он покинул свой приход, – – а вместе с ним и этот свет, – и явился дать отчет судье, на решения которого у него не будет никаких причин жаловаться.

Но над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, а они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько их преломляет и искажает истинное их направление, – – – что при всем праве на признательность, которую заслуживает прямодушие, люди эти все-таки вынуждены жить и умереть, не получив ее.

Горестным примером этой истины был наш священник... Но чтобы узнать, каким образом это случилось – и извлечь для себя урок из полученного знания, вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержится очерк его жизни и суждений, заключающий ясную мораль. – Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжать рассказ о повивальной бабке, если ничто нас не остановит по пути.

Глава XI

Йорик было имя священника, и, что всего замечательнее, как явствует из очень старинной грамоты о его роде, написанной на крепком пергаменте и до сих пор прекрасно сохранившейся, имя это писалось точно так же в течение почти – я чуть было не сказал, девяност лет, – но я не стану подрывать доверия к себе, сообщая столь невероятную, хотя и бесспорную истину, – и потому удовольствуюсь утверждением, – что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы, с незапамятных времен; а я бы этого не решился сказать о половине лучших имен нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратностей и перемен, как и их владельцы. – Происходило это от гордости или от стыда (означенных владельцев)? – По правде говоря, я думаю, что иногда от гордости, а иногда от стыда, смотря по тому, что ввело их в искушение. А в общем, это темное дело, и когда-нибудь оно так нас перемешает и перепутает, что никто не будет в состоянии встать и поклясться, что «человек, содеявший то-то и то-то, был его прадед».

От этого зла род Йорика с мудрой заботливостью надежно оградил себя благоговейным хранением означенной грамоты, которая далее сообщает нам, что род этот – датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность до самой своей смерти. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; – она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненужностью упразднили не только при датском дворе, но и при всех других дворах христианского мира.

Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета, трагедии нашего Шекспира, многие из пьес которого, вы знаете, основаны на достоверных документальных данных, – несомненно является этим самым Йориком.

Мне некогда заглянуть в Датскую историю Саксона Грамматика²⁵, чтобы проверить правильность всего этого; – но если у вас есть досуг и вам нетрудно достать книгу, вы можете это сделать ничуть не хуже меня.

В моем распоряжении при поездке по Дании со старшим сыном мистера Нодди, которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернера, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы (об этом своеобразном путешествии, совершенном совместно, дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения), – в моем распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справедливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил в той стране, – а именно, что «природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно скаредна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями; – но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюла такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю; таким образом, вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей; но зато во всех сословиях найдете много доброго здравого смысла, которым никто не обделен», – что, по моему мнению, совершенно правильно.

У нас, вы знаете, дело обстоит совсем иначе; – все мы представляем противоположные крайности в этом отношении; – вы либо великий гений – либо, пятьдесят против одного, сэр, вы набитый дурак и болван; – не то чтобы совершенно отсутствовали промежуточные ступени, – нет, – мы все же не настолько беспорядочны; – однако две крайности – явление более обычное и чаще встречающееся на нашем неустроенном острове, где природа так своенравно и капризно распределяет свои дары и задатки; даже удача, посещая нас своими милостями, действует не более прихотливо, чем она.

Это единственное обстоятельство, когда-либо колебавшее мою уверенность относительно происхождения Йорика; в жилах этого человека, насколько я его помню и согласно всем сведениям о нем, какие мне удалось раздобыть, не было, по-видимому, ни капли датской крови; очень возможно, что за девятьсот лет вся она улетучилась: – не хочу теряться в праздных домыслах по этому поводу; ведь отчего бы это ни случилось, а факт был тот – что вместо холодной флегмы и правильного соотношения здравого смысла и причуд, которые вы ожидали бы найти у человека с таким происхождением, – он, напротив, отличался такой подвижностью и легковесностью, – казался таким чудаком во всех своих повадках, – столько в нем было жизни, прихотей и *gai te de coeur*²⁶, что лишь самый благодатный климат мог бы все это породить и собрать вместе. Но при таком количестве парусов бедный Йорик не нес ни одной унции балласта; он был самым неопытным человеком в практических делах; в двадцать шесть лет у него было ровно столько же умения править рулем в житейском море, как у шаловливой тринадцатилетней девочки, не подозревающей ни о каких опасностях. Таким образом, в первое же плавание свежий ветер его воодушевлял, как вы легко можете себе представить, гнал его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой такелаж; а так как чаще всего на пути его оказывались люди степенные, люди, никуда не спешившие, то, разумеется, злой рок чаще всего сталкивал его именно с такими людьми. Насколько мне известно, в основе подобных *fracas*²⁷ лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия; – ибо, сказать правду, Йорик от природы чувствовал непреодолимое отвращение и неприязнь к строгости; – не к строгости как таковой; – когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных по целым дням и неделям сряду; – но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только плащом для невежества или слабоумия; в таких случаях, попадись она на его пути под каким угодно прикрытием и покровительством, он почти никогда не давал ей спуску.

Иногда он говорил со свойственным ему безрассудством, что строгость – отъявленная пройдоха, прибавляя: – и преопасная к тому же, – так как она коварна; – по его глубокому убеждению, она в один год выманивает больше добра и денег у честных и благонамеренных людей, чем карманные и лавочные воры в семь лет. – Открытая душа весельчака, – говорил он, – не таит в себе никаких опасностей, – разве только для него самого; – между тем как самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман; – это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, – она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец²⁸, – а именно: строгость – это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума; – это определение строгости, – говорил весьма опрометчиво Йорик, – заслуживает начертания золотыми буквами.

Но, говоря по правде, он был человек неискушенный и неопытный в свете и с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре также и других предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Но для Йорика единственным доводом было существо дела, о котором шла речь, и такие доводы он обыкновенно переводил без всяких обиняков на простой английский язык, – весьма часто при этом мало считаясь с лицами, временем и местом; – таким образом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, – он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто герой этой истории, – какое он занимает положение, – или насколько он способен повредить ему впоследствии; – но если то был грязный поступок, – без околичностей говорил: – «такой-то и такой-то грязная личность», – и так далее. – И так как его замечания обыкновенно имели несчастье либо заканчиваться каким-нибудь *bon mot*²⁹, либо приправляться каким-нибудь шутивным или забавным выражением, то опрометчивость Йорика разносилась на них, как на крыльях. Словом, хотя он никогда не искал (но, понятно, и не избегал) случаев говорить то, что ему взбредет на ум, и притом без всякой церемонии, – в жизни ему пред-

ставлялось совсем не мало искушений расточать свое остроумие и свой юмор, – свои насмешки и свои шутки. – – Они не погибли, так как было кому их подбирать.

Что отсюда последовало и какая катастрофа постигла Йорика, вы прочтете в следующей главе.

Глава XII

Закладчик и займодавец меньше отличаются друг от друга вместительностью своих кошельков, нежели *насмешник* и *осмеянный* вместительностью своей памяти. Но вот в чем сравнение между ними, как говорят схолиасты³⁰, идет на всех четырех (что, кстати сказать, на одну или две ноги больше, чем могут похвастать некоторые из лучших сравнений Гомера): – один добывает за ваш счет деньги, другой возбуждает на ваш счет смех, и оба об этом больше не думают. Между тем проценты в обоих случаях идут и идут; – периодические или случайные выплаты их лишь освежают память о содеянном, пока наконец, в недобрый час, – вдруг является к тому и другому займодавец и своим требованием немедленно вернуть капитал вместе со всеми наросшими до этого дня процентами дает почувствовать обоим всю широту их обязательств.

Так как (я ненавижу ваши *если*) читатель обладает основательным знанием человеческой природы, то мне незачем распространяться о том, что мой герой, оставаясь неисправимым, не мог не слышать время от времени подобных напоминаний. Сказать по правде, он легкомысленно запутался во множестве мелких долгов, этого рода, на которые, вопреки многократным предостережениям *Евгения*³¹, не обращал никакого внимания, считая, что, поскольку делал он их не только без всякого злого умысла, – но, напротив, от чистого сердца и по душевной простоте, из желания весело посмеяться, – все они со временем преданы будут забвению.

Евгений никогда с этим не соглашался и часто говорил своему другу, что рано или поздно ему непременно придется за все расплатиться, и притом, – часто прибавлял он с горестным опасением, – до последней полушки. На это Йорик со свойственной ему беспечностью обыкновенно отвечал: – ба! – и если разговор происходил где-нибудь в открытом поле, – прыгал, скакал, плясал, и тем дело кончалось; но если они беседовали в тесном уголке у камина, где преступник был наглухо забаррикадирован двумя креслами и столом и не мог так легко улизнуть, – Евгений продолжал читать ему нотацию об осмотрительности приблизительно в таких словах, только немного более складно:

«Поверь мне, дорогой Йорик, эта беспечная шутливость рано или поздно вовлечет тебя в такие затруднения и неприятности, что никакое запоздалое благоразумие тебе потом не поможет. – Эти выходки, видишь, очень часто приводят к тому, что человек осмеянный считает себя человеком оскорбленным, со всеми правами, из такого положения для него вытекающими; представь себе его в этом свете, да пересчитай его приятелей, его домочадцев, его родственников, – и прибавь сюда толпу людей, которые соберутся вокруг него из чувства общей опасности; – так вовсе не будет преувеличением сказать, что на каждые десять шуток – ты приобрел сотню врагов; но тебе этого мало: пока ты не переполошишь рой ос и они тебя не пережалят до полусмерти, ты, очевидно, не успокоишься.

«Я ни капли не сомневаюсь, что в этих шутках уважаемого мной человека не заключено ни капли желчи или злонамеренности, – – – я считаю, знаю, что они идут от чистого сердца и сказаны были только для смеха. – Но ты пойми, дорогой мой, что глупцы не видят этого различия, – а негодяи не хотят закрывать на него глаза, и ты не представляешь, что значит рассердить одних или поднять на смех других: – стоит им только объединиться для совместной защиты, и они поведут против тебя такую войну, дружище, что тебе станет тошнехонько и ты жизни не рад будешь.

«Мечь пустит из отравленного угла позорящий тебя слух, которого не опровергнут ни чистота сердца, ни самое безупречное поведение. – – Благополучие дома твоего пошатнется, – твое доброе имя, на котором оно основано, истечет кровью от тысячи ран, – твоя вера будет подвергнута сомнению, – твои дела обречены на поругание, – твое остроумие будет забыто, – твоя ученость втоптана в грязь. А для финала этой твоей трагедии *Жестокость* и *Трусость*,

два разбойника-близнеца, нанятых *Злобой* и подосланных к тебе в темноте, сообща накинутся на все твои слабости и промахи. – Лучшие из нас, милый мой, против этого беззащитны, – и поверь мне, – поверь мне, Йорик, когда в угоду личной мести приносится в жертву невинное и беспомощное существо, то в любой чаще, где оно заблудилось, нетрудно набрать хворосту, чтобы развести костер и сжечь его на нем».

Когда Йорик слушал это мрачное пророчество о грозящей ему участи, глаза его обыкновенно увлажнялись и во взгляде появлялось обещание, что отныне он будет ездить на своей лошадке осмотрительнее. – Но, увы, слишком поздно! – Еще до первого дружеского предостережения против него составилась большой заговор во главе с *** и с ****. – Атака, совсем так, как предсказывал Евгений, была предпринята внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов – и так неожиданно для Йорика, вовсе и не подозревавшего о том, какие козни против него замышляются, – что в ту самую минуту, когда этот славный, беспечный человек рассчитывал на повышение по службе, – враги подрубили его под корень, и он пал, как это много раз уже случалось до него с самыми достойными людьми.

Все же некоторое время Йорик сражался самым доблестным образом, но наконец, сломленный численным перевесом и обессиленный тяготами борьбы, а еще более – предательским способом ее ведения, – бросил оружие, и хотя с виду он не терял бодрости до самого конца, все-таки, по общему мнению, умер, убитый горем.

Евгений также склонялся к этому мнению, и по следующей причине:

За несколько часов перед тем, как Йорик испустил последний вздох, Евгений вошел к нему с намерением в последний раз взглянуть на него ж сказать ему последнее прости. Когда он отдернул полог и спросил Йорика, как он себя чувствует, тот посмотрел ему в лицо, взял его за руку – и, поблагодарив его за многие знаки дружеских чувств, за которые, по словам Йорика, он снова и снова будет его благодарить, – если им суждено будет встретиться на том свете, – сказал, что через несколько часов он навсегда ускользнет от своих врагов... – Надеюсь, что этого не случится, – отвечал Евгений, заливаясь слезами и самым нежным голосом, каким когда-нибудь говорил человек, – надеюсь, что не случится, Йорик, – сказал он. – Йорик возразил взглядом, устремленным кверху, и слабым пожатием руки Евгения, и это было все, – но Евгений был поражен в самое сердце. – Полно, полно, Йорик, – проговорил Евгений, утирая глаза и пытаясь ободриться, – будь покоен, дорогой друг, – пусть мужество и сила не оставляют тебя в эту тяжелую минуту, когда ты больше всего в них нуждаешься; – – кто знает, какие средства есть еще в запасе и чего не в силах сделать для тебя всемогущество божие!.. – – Йорик положил руку на сердце и тихонько покачал головой. – А что касается меня, – продолжал Евгений, горько заплакав при этих словах, – то, клянусь, я не знаю, Йорик, как перенесу разлуку с тобой, – – и я лыщу себя надеждой, – продолжал Евгений повеселевшим голосом, – что из тебя еще выйдет епископ – и что я увижу это собственными глазами. – – Прошу тебя, Евгений, – проговорил Йорик, кое-как снимая ночной колпак левой рукой, – – правая его рука была еще крепко зажата в руке Евгения, – – прошу тебя, взгляни на мою голову... – Я не вижу на ней ничего особенного, – отвечал Евгений. – Так позволь сообщить тебе, мой друг, – промолвил Йорик, – что она, увы! настолько помята и изуродована ударами, которые ***, **** и некоторые другие обрушили на меня в темноте, что я могу сказать вместе с Санчо Пансой: «Если бы даже я поправился и на меня градом посыпались с неба митры, ни одна из них не пришлась бы мне впору». – – Последний вздох готов был сорваться с дрожащих губ Йорика, когда он произносил эти слова, – а все-таки в тоне, каким они были произнесены, заключалось нечто сервантесовское: – и когда он их говорил, Евгений мог заметить мерцающий огонек, на мгновение загоревшийся в его глазах, – бледное отражение тех былых вспышек веселья, от которых (как сказал Шекспир о его предке) всякий раз хохотал весь стол³²!

Евгений вынес из этого убеждение, что друг его умирает, убитый горем: он пожал ему руку – – и тихонько вышел из комнаты, весь в слезах. Йорик проводил Евгения глазами до двери, – потом их закрыл – и больше уже не открывал.

Он покоится у себя на погосте, в приходе, под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений, с разрешения душеприказчиков, водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и эпитафией и элегией:

=====

|| УВЫ, БЕДНЫЙ ЙОРИК! ||

=====

Десять раз в день дух Йорика получает утешение, слыша, как читают эту надгробную надпись на множество различных жалобных ладов, свидетельствующих о всеобщем сострадании и уважении к нему: – – тропинка пересекает погост у самого края его могилы, – и каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, бросает на нее взгляд – – и вздыхает, продолжая свой путь:

Увы, бедный Йорик!

Глава XIII

Читатель этого рапсодического произведения³³ так давно уже расстался с повивальной бабкой, что пора наконец возвратиться к ней, напомнить ему о существовании этой особы, ибо по зрелом рассмотрении моего плана, как он мне рисуется сейчас, – я решил познакомить его с ней раз и навсегда; – ведь может возникнуть какая-нибудь новая тема или случиться неожиданное дело у меня с читателем, не терпящее отлагательств, – – как же не позаботиться о том, чтобы бедная женщина тем временем не затерялась? – тем более что, когда она понадобится, мы никоим образом без нее не обойдемся.

Кажется, я вам сказал, что эта почтенная женщина пользовалась в нашей деревне и во всем нашем околотке большим весом и значением, – что слава ее распространилась до самых крайних пределов и границ той сферы влияния, которую описывает вокруг себя каждая живая душа, – – безразлично: имеет она на теле рубашку или не имеет, – каковую сферу, кстати сказать, когда речь заходит об особах с большим весом и влиянием в свете, – вы вольны расширять или суживать по усмотрению вашей милости, в общей зависимости от положения, рода занятий, познаний, способностей, высоты и глубины (и ту и другую вы можете измерять) выведенного перед вами лица.

В настоящем случае, насколько мне помнится, я называл цифру в четыре или пять миль, не только весь приход в целом, но и примыкающие к нему два-три поселка соседнего прихода; что в общем составляет вещь внушительную. Я должен прибавить, что эта почтенная женщина была очень хорошо принята на одной большой мызе и еще в нескольких домах и фермах, расположенных, как я сказал, в двух или трех милях от собственной дымовой трубы. – – Но я хочу здесь раз и навсегда объявить вам, что все это будет точнее обозначено и пояснено на карте, над которой в настоящее время работает гравер и которая, вместе со множеством других материалов и дополнений к этому произведению, помещена будет в конце двадцатого тома, – не для того чтобы сделать более объемистой мою работу, – мне противно даже думать об этом; – – но в качестве комментария, схолий и иллюстраций, в качестве ключа к таким местам, эпизодам или намекам, которые покажутся либо допускающими различное толкование, либо темными и сомнительными, когда моя жизнь и мои мнения будут читаться всем светом (прошу не забывать, в каком значении здесь берется это слово); – на что, говоря между нами, вопреки господам критикам Великобритании и вопреки всему, что их милостям вздумается написать или сказать против этого, – – я твердо рассчитываю. – – Мне нет надобности говорить вашей милости, что все это говорится здесь сугубо конфиденциально.

Глава XIV

Просматривая брачный договор моей матери, чтобы уяснить себе и читателю один пункт, который непременно должен быть правильно понят, иначе мы не можем приступить к продолжению этой истории, – я, по счастью, натолкнулся как раз на то, что мне было нужно, затратив всего лишь полтора дня на беглое чтение, – ведь эта работа могла отнять у меня целый месяц; – из чего можно заключить, что когда человек садится писать историю, – хотя бы то была лишь история Счастливого Джека или Мальчика с пальчик, он не больше, чем его пятки, знает, сколько помех и сбивающих с толку препятствий встретится ему на пути, – или какие мытарства ожидают его при том или ином отклонении в сторону, прежде чем он благополучно доберется до конца. Если бы историограф мог погонять свою историю, как погонщик погоняет своего мула, – все вперед да вперед, – ни разу, например, от Рима до Лоретте не повернув головы ни направо, ни налево, – он мог бы тогда решиться с точностью предсказать вам час, когда будет достигнута цель его путешествия. – Но это, честно говоря, неосуществимо; ведь если в нем есть хоть искорка души, ему не избежать того, чтобы раз пятьдесят не свернуть в сторону, следуя за той или другой компанией, подвернувшейся ему в пути, заманчивые виды будут притягивать его взор, и он так же не в силах будет удержаться от соблазна полюбоваться ими, как он не в силах полететь; кроме того, ему придется

согласовывать различные сведения,
разбирать надписи,
собирать анекдоты,
вплетать истории,
просеивать предания,
делать визиты (к важным особам),
наклеивать панегирики на одних дверях и
пасквили на других, – —

между тем как и погонщик и его мул от всего этого совершенно избавлены. Словом, на каждом перегоне есть архивы, которые необходимо обследовать, свитки, грамоты, документы и бесконечные родословные, изучения которых поминутно требует справедливость. Короче говоря, этому нет конца; – что касается меня, то довожу до вашего сведения, что я занят всем этим уже шесть недель и выбиваюсь из сил, – а все еще не родился. – Я удосужился всего-навсего сказать вам, когда это случилось, но еще не сказал, как; – таким образом, вы видите, что все еще впереди.

Эти непредвиденные задержки, о которых, признаться, я и не подозревал, когда отправлялся в путь, – хотя, как я в этом убежден теперь, они, скорее, будут умножаться, нежели уменьшаться по мере моего продвижения вперед, – эти задержки подсказали мне одно правило, которого я решил держаться, – а именно – не спешить, – но идти тихим шагом, сочиняя и выпуская в свет по два тома моего жизнеописания в год; – и, если мне ничто не помешает и удастся заключить сносный договор с книгопродавцем, я буду продолжать эту работу до конца дней моих.

Глава XV

Статья брачного договора, которую, как уже сказано читателю, я взял на себя труд отыскать, и теперь, когда она найдена, хочу ему представить, – изложена в самом документе куда более обстоятельно, чем это мог бы когда-нибудь сделать я сам, и было бы варварством выхватить ее из рук сочинившего ее законника. – Вот она от слова до слова.

«И договор сей удостоверяет далее, что упомянутый *Вальтер Шенди*, купец, в уважение упомянутого предположенного брака, с божьего благословения имеющего быть честно и добросовестно справленным и учиненным между упомянутым *Вальтером Шенди* и *Елизаветой Моллине*, упомянутой выше, и по разным другим уважительным и законным причинам и соображениям, его к тому особо побуждающим, – допускает, договаривается, признает, одобряет, обязуется, рядится и совершенно соглашается с вышеназванными опекунами *Джоном Диксоном* и *Джемсом Тернером*, эсквайрами и т. д. и т. д., – в том, – что в случае, если впоследствии так произойдет, выйдет, случится или каким-либо образом окажется, – что упомянутый *Вальтер Шенди*, купец, оставив свое дело до того времени или срока, когда упомянутая *Елизавета Моллине*, согласно естественному ходу вещей или по другим причинам, перестанет вынашивать и рожать детей, – и что, вследствие оставления таким образом своего дела, упомянутый *Вальтер Шенди*, вопреки и против добровольного согласия и желания упомянутой *Елизаветы Моллине*, – выедет из города *Лондона* с целью обосноваться и поселиться в своем поместье *Шенди-Холл*, в графстве *** или в каком-нибудь другом сельском жилище, замке, господском или ином доме, в усадьбе или на мызе, уже приобретенных или имеющих быть приобретенными впоследствии, или на какой-нибудь части или площади последних, – что тогда, каждый раз, когда упомянутой *Елизавете Моллине* случится забеременеть младенцем или имеющими быть зачатыми в утробе упомянутой *Елизаветы Моллине* в продолжение упомянутого замужества младенцами, – – оный упомянутый *Вальтер Шенди* должен будет на свой собственный счет и средства и из собственных своих денег, по надлежащем и своевременном уведомлении, каковое должно быть сделано за полных шесть недель до предположительно исчисляемого срока разрешения от бремени упомянутой *Елизаветы Моллине*, – уплатить или распорядиться об уплате суммы в сто двадцать фунтов полноценной и имеющей законное хождение монетой *Джону Диксону* и *Джемсу Тернеру*, эсквайрам, или их уполномоченным, – на веру и совесть, для нижеследующих нужд и целей, употребления и применения: – то есть – дабы названная сумма в сто двадцать фунтов вручена была упомянутой *Елизавете Моллине* или другим способом употреблена оными упомянутыми опекунами для честного и добросовестного найма почтовой кареты с надлежащими и пригодными лошадьми, дабы довести и доставить особу упомянутой *Елизаветы Моллине* с младенцем или младенцами, коими она будет тогда тяжела и беременна, – в город *Лондон*; и для дальнейших уплат и покрытия всех других могущих возникнуть издержек, расходов и трат какого бы ни было рода – для, ради, по поводу и относительно упомянутого предполагаемого ее разрешения от бремени и родов в названном городе или его предместьях. И дабы упомянутая *Елизавета Моллине* время от времени, всякий раз и столько раз, как здесь условлено и договорено, – мирно и спокойно нанимала или могла нанять упомянутую карету и лошадей, а также имела или могла иметь в продолжение всего своего путешествия свободный вход, выход и вход обратно в упомянутую карету и из оной, согласно общему содержанию, истинному намерению и смыслу настоящего договора, без каких бы то ни было помех, возражений, придинок, беспокойств, докук, откатов, препятствий, взысканий, лишений, притеснений, преград и затруднений. – И дабы сверх того упомянутой *Елизавете Моллине* законно разрешалось время от времени, всякий раз и столько раз, как упомянутая ее беременность истинно и доподлинно подходить будет к выше

установленному и оговоренному сроку, – останавливаться и жить в таком месте или в таких местах, в таком семействе или в таких семействах и с такими родственниками, знакомыми и другими лицами в пределах названного города Лондона, как она, по собственной своей воле и желанию, невзирая на ее нынешнее замужество, словно бы она была *femme sole*³⁴ и незамужняя, – сочтет для себя подходящим. – *И договор сей удостоверяет далее*, что в обеспечение точного использования настоящего соглашения упомянутый Вальтер Шенди, купец, сим уступает, предоставляет, продает, передает и препоручает упомянутым Джону Диксону и Джемсу Тернеру, эсквайрам, их наследникам, душеприказчикам и уполномоченным в их действительное владение в силу заключенной ныне на сей предмет между оными упомянутыми Джоном Диксоном и Джемсом Тернером, эсквайрами, и оным упомянутым Вальтером Шенди, купцом, сделки о купле-продаже сроком на один год, каковая сделка, сроком на один год, заключена накануне числа, коим помечен настоящий договор, в силу и на основании статута о передаче права пользования, – *все поместья и владения Шенди в графстве ****, со всеми правами, статьями и полномочиями; со всеми усадьбами, домами, постройками, амбарами, конюшнями, фруктовыми садами, цветниками, задними дворами, огородами, пустырями, домами фермеров, пахотными землями, лугами, поймами, пастбищами, болотами, выгонами, лесами, перелесками, канавами, топиями, прудами и ручьями, – а также со всеми рентами, выморочными имуществами, сервитутами, повинностями, пошлинами, оброками, с рудниками и каменоломнями, с движимостью и недвижимостью преступников и беглых, самоубийц и преданных суду, с конфискованным в пользу бедных имуществом, с заповедниками и со всеми прочими прерогативами и сеньориальными правами и юрисдикцией, привилегиями и наследствами, как бы они ни назывались, – а также с правом патроната, дарения и замещения должности приходского священника и свободного распоряжения церковным домом и всеми церковными доходами, десятинами и землями». – В двух словах: – – – Моя мать могла (если бы пожелала) рожать в Лондоне.

Но для предотвращения каких-либо неблагоприятных действий со стороны моей матери, для которых эта статья брачного договора явно открывала возможность и о которых никто бы и не подумал, не будь моего дяди, Тоби Шенди, – добавлена была клаузула в ограждение прав моего отца, которая гласила: – «что если моя мать когда-нибудь потревожит моего отца и введет его в расходы на поездку в Лондон по ложным мотивам и жалобам, – то в каждом таком случае она лишается всех прав и преимуществ, предоставляемых ей этим соглашением, – для ближайших родов, – но не больше; – и так далее, *toties quoties*³⁵, – совершенно и безусловно, – как если бы подобного рода соглашение между ними и вовсе не было заключено». – Оговорка эта, кстати сказать, была вполне разумна, – и все-таки, несмотря на ее разумность, я всегда считал жестоким, что волею обстоятельств всей тяжестью она обрушилась на меня.

Но я был зачат и родился на горе себе; – был ли то ветер или дождь, – или сочетание того и другого, – или ни то, ни другое, были ли то попросту не в меру разыгравшиеся фантазия и воображение моей матери, – а может быть, она была сбита с толку сильным желанием, чтобы это случилось, – словом, была ли тут бедная моя мать обманутой или обманщицей, никоим образом не мне об этом судить. Факт был тот, что в конце сентября 1717 года, то есть за год до моего рождения, моя мать увлекла моего отца, наперекор его желанию, в столицу, – и он теперь категорически потребовал соблюдения клаузулы. – Таким образом, я обречен был брачным договором моих родителей носить настолько приплюснутый к лицу моему нос, как если бы Парки свили меня вовсе без носа.

Как это произошло – и какое множество досадных огорчений меня преследовало на всех поприщах моей жизни лишь по причине утраты или, вернее, изувеченья названного органа – обо всем этом в свое время будет доложено читателю.

Глава XVI

Легко себе представить, в каком раздраженном состоянии отец мой возвращался с матерью домой в деревню. Первые двадцать или двадцать пять миль он ничего другого не делал, как только изводил и донимал себя, – и мою мать, разумеется, – жалобами на эту проклятую трату денег, которые, говорил он, можно было бы сберечь до последнего шиллинга; – но что больше всего его огорчало, так это избранное ею возмутительно неудобное время года, – стоял, как уже было сказано, конец сентября, самая пора снимать шпалерные фрукты, в особенности же зеленые сливы, которыми он так интересовался: – «Замани его кто-нибудь в Лондон по самому пустому делу, но только в другом месяце, а не в сентябре, он бы слова не сказал».

На протяжении двух следующих станций единственной темой разговора был тяжелый удар, нанесенный ему потерей сына, на которого он, по-видимому, твердо рассчитывал и которого занес даже в свою памятную книгу в качестве второй опоры себе под старость на случай, если бы Бобби не оправдал его надежд. «Это разочарование, – говорил он, – для умного человека в десять раз ощутительнее, чем все деньги, которых стоила ему поездка, и т. д.; – сто двадцать фунтов – пустяки, дело не в них».

Всю дорогу от Стилтона до Грентама ничто его в этой истории так не раздражало, как соболезнования приятелей и дурацкий вид, который будет у него с женой в церкви в ближайшее воскресенье; – в своем сатирическом неистовстве, вдобавок еще подогретом досадой, он так забавно и зло это изображал, – он рисовал свою дражайшую половину и себя в таком неприглядном свете, ставил в такие мучительные положения перед всеми прихожанами, – что моя мать называла потом две эти станции поистине трагикомическими, и всю эту часть дороги, от начала до конца, ее душили смех и слезы.

От Грентама и до самой переправы через Трент отец мой рвал и метал по поводу обмана моей матери и скверной шутки, которую, как он считал, она сыграла с ним в этом деле. – «Разумеется, – твердил он снова и снова, – эта женщина не могла ошибиться; – а если могла, – какая слабость!» – Убийственное слово! оно увлекло его воображение на тернистый путь и, прежде чем он выпутался, доставило ему большие неприятности; – ибо едва только слово слабость было произнесено и вполне им осмыслено – во всем его значении, как тотчас начались бесконечные рассуждения о том, какие существуют виды слабости – что наряду со слабостью ума существует такая вещь, как слабость тела, – после чего он на протяжении одного или двух перегонов был весь погружен в размышления о том, в какой мере причина всех этих треволнений могла, или не могла, заключаться в нем самом.

Короче говоря, эта несчастная поездка явилась для него источником такого множества беспокойных мыслей, что если дорога в Лондон и доставила удовольствие моей матери, то возвращение домой оказалось для нее не из приятных. – Словом, как она жаловалась моему дяде Тоби, муж ее истощил бы и ангельское терпение.

Глава XVII

Хотя отец мой ехал домой, как вы видели, далеко не в лучшем расположении духа, – негодовал и возмущался всю дорогу, – все-таки у него достало такта затаить про себя самую неприятную часть всей этой истории, – а именно: принятое им решение отыграться, воспользовавшись правом, которое ему давала оговорка дяди Тоби в брачном договоре; и до самой ночи, в которую я был зачат, что случилось тринадцать месяцев спустя, мать моя ровно ничего не знала о его замысле; – ибо только в ту ночь мой отец, который, как вы помните, немного рассердился и был не в духе, – воспользовался случаем, когда они потом чинно лежали рядом на кровати, разговаривая о предстоящем, – и предупредил мою мать, что пусть устраивается как знает, а только придется ей соблюсти соглашение, заключенное между ними в брачном договоре, а именно – рожать следующего ребенка дома, чтобы расквитаться за прошлогоднюю поездку.

Отец мой обладал многими добродетелями, – но его характеру была в значительной мере присуща черта, которую иногда можно, а иногда нельзя причислить к добродетелям. – Она называется твердостью, когда проявляется в хорошем деле, – и упрямством – в худом. Моя мать была превосходно о ней осведомлена и знала, что никакие протесты не приведут ни к чему, – поэтому она решила покорно сидеть дома и смириться.

Глава XVIII

Так как в ту ночь было условлено или, вернее, определено, что моя мать должна была разрешиться мною в деревне, то она приняла соответствующие меры. Дня через три после того, как она забеременела, начала она обращать взоры на повивальную бабку, о которой вы столько уже от меня слышали; и не прошло и недели, как она, – ведь достать знаменитого доктора Маннингема³⁶ было невозможно, – окончательно решила про себя, – несмотря на то что на расстоянии всего лишь восьми миль от нас жил один ученый хирург³⁷, бывший автором специальной книги в пять шиллингов об акушерской помощи, где он не только излагал промахи повивальных бабок, – но и прибавил еще описание многих любопытных усовершенствований для быстрейшего извлечения плода при неправильном положении ребенка и в случае некоторых других опасностей, подстерегающих нас при нашем появлении на свет; – несмотря на все это, моя мать, повторяю, непреклонно решила доверить свою жизнь, а с нею вместе и мою, единственно только упомянутой старухе и больше никому на свете. – Вот это я люблю: – если уж нам отказано в том, чего мы себе желаем, – никогда не надо удовлетворяться тем, что сортом похуже; – ни в коем случае; это мизерно до последней степени. – Не далее как неделю тому назад, считая от нынешнего дня, когда я пишу эту книгу в назидание свету, – то есть 9 марта 1759 года, – моя милая, милая Дженни, заметив, что я немножко нахмурился, когда она торговала шелк по двадцати пяти шиллингов ярд, – извинилась перед лавочником, что доставила ему столько беспокойства; и сейчас же пошла и купила себе грубой материи в ярд шириной по десяти пенсов ярд. – Это образец такого же точно величия души; только заслуга моей матери немного умалялась тем, что она не шла в споем геройстве до той резкой и рискованной крайности, которой требовала ситуация, так как старая повитуха имела все-таки некоторое право на доверие, – поскольку, по крайней мере, ей давал его успех; ведь в течение своей почти двадцатилетней практики она способствовала появлению на свет всех новорожденных нашего прихода, не совершив ни одного промаха и не зная ни одной неудачи, которую ей можно было бы поставить в вину.

Эти факты, при всей их важности, все же не совсем рассеяли кое-какие сомнения и опасения, шевелившиеся в душе моего отца относительно сделанного матерью выбора. – Не говоря уже о естественных чувствах человечности и справедливости – или о тревогах родительской и супружеской любви, одинаково побуждавших его оставить в этом деле как можно меньше места случайности, – он сознавал особенную важность для него благополучного исхода именно в данном случае, – предвидя, сколько ему придется изведать горя, если с его женой и ребенком приключится что-нибудь неладное во время родов в Шенди-Холле. – Он знал, что свет судит по результатам и в случае несчастья только прибавит ему огорчений, свалив на него всю вину. – «Ах, боже мой! – Если бы миссис Шенди (бедная женщина!) могла исполнить свое желание и съездить для родов в Лондон, хотя бы не надолго (говорят, она на коленях просила и молила об этом, – по-моему, принимая во внимание приданое, которое мистер Шенди взял за ней, – ему было бы не так уж трудно удовлетворить ее просьбу), – и она сама и ее ребенок, верно, были бы живы и по сей час!»

На такие восклицания не найдешь ответа, и мой отец знал это, – но то, что его особенно волновало в этом деле, было не только желание оградить себя – и не исключительно лишь внимание к своему отпрыску и своей жене: – у моего отца был широкий взгляд на вещи, – и в добавление ко всему он принимал все близко к сердцу еще и в интересах общественного блага, он опасался дурных выводов, которые могли быть сделаны в случае неблагоприятного исхода дела.

Ему были прекрасно известны единодушные жалобы всех политических писателей, занимавшихся этим предметом от начала царствования королевы Елизаветы и до его времени,

о том, что поток людей и денег, устремляющихся в столицу по тому или иному суетному поводу, – делается настолько бурным, – что ставит под угрозу наши гражданские права; – хотя заметим мимоходом, – – поток не был образом, который приходился ему больше всего по вкусу, – любимой его метафорой здесь был недуг, и он развивал ее в законченную аллегория, утверждая, что недуг этот точь-в-точь такой же в теле народном, как и в теле человеческом, и состоит в том, что кровь и жизненные духи поднимаются в голову быстрее, чем они в состоянии найти себе дорогу вниз, – – кругообращение нарушается и наступает смерть как в одном, так и в другом случае.

– Нашим свободам едва ли угрожает опасность, – говорил он обыкновенно, – французской политики или французского вторжения; – – и он не очень страшился, что мы зачнем от избытка гнилой материи и отравленных соков в нашей конституции, – с которой, он надеялся, дело, обстоит совсем не так худо, как иные воображают; – но он всерьез опасался, как бы в критическую минуту мы не погибли вдруг от апоплексии; – и тогда, – говорил он, – господь да помилует нас, грешных.

Отец мой, излагая историю этого недуга, никогда не мог одновременно не указать лекарство против него.

«Будь я самодержавным государем, – говорил он, вставая с кресла и подтягивая обеими руками штаны, – я бы поставил на всех подступах к моей столице сведущих людей и возложил на них обязанность допрашивать каждого дурака, по какому делу он едет в город; – и если бы после справедливого и добросовестного расспроса оказалось, что дело это не настолько важное, чтобы из-за него стоило оставлять свой дом и со всеми своими пожитками, с женой и детьми, сыновьями фермеров и т. д. и т. д. тащиться в столицу, то приезжие подлежали бы, в качестве бродяг, возвращению, от констебля к констеблю, на место своего законного жительства. Этим способом я достигну того, что столица не пошатнется от собственной тяжести; – что голова не будет слишком велика для туловища; – что конечности, ныне истощенные и изможденные, получают полагающуюся им порцию пищи и вернут себе прежнюю свою силу и красоту. – Я приложил бы все старания, чтобы луга и пахотные поля в моих владениях смеялись и пели, – чтобы в них вновь воцарилось довольство и гостеприимство, – а средним помещикам моего королевства досталось бы от этого столько силы и столько влияния, что они могли бы служить противовесом знати, которая в настоящее время так их обирает.

«Почему во многих прелестных провинциях Франции, – спрашивал он с некоторым волнением, прохаживаясь по комнате, – теперь так мало дворцов и господских домов? Чем объясняется, что немногие уцелевшие *châteaux*³⁸ так запущены, – так разорены и находятся в таком разрушенном и жалком состоянии? – Тем, сэр, – говорил он, – что во французском королевстве нет людей, у которых были бы какие-нибудь местные интересы; – все интересы, которые остаются у француза, кто бы он ни был и где бы ни находился, всецело сосредоточены при дворе и во взорах великого монарха; лучи его улыбки или проходящие по лицу его тучи – это жизнь или смерть для каждого его подданного».

Другое политическое основание, побуждавшее моего отца принять все меры для предотвращения малейшего несчастья при родах моей матери в деревне, – – заключалось в том, что всякое такое несчастье неминуемо нарушило бы равновесие сил в дворянских семьях как его круга, так и кругов более высоких в пользу слабейшего пола, которому и без того принадлежит слишком много власти; – – обстоятельство это, наряду с незаконным захватом многих других прав, ежечасно совершаемым этой частью общества, – оказалось бы в заключение роковым для монархической системы домашнего управления, самим богом установленной с сотворения мира.

В этом пункте он всецело разделял мнение сэра Роберта Фильмера³⁹, что строй и учреждения всех величайших восточных монархий восходят к этому замечательному образцу и прототипу отцовской власти в семье; – но вот уже в течение столетия, а то и больше, власть

эта постепенно выродилась, по его словам, в смешанное управление; – – и как ни желательна такая форма управления для общественных объединений большого размера, – она имеет много неудобств в объединениях малых, – где, по его наблюдениям, служит источником лишь беспорядка и неприятностей.

По всем этим соображениям, частным и общественным, вместе взятым, – мой отец желал во что бы то ни стало пригласить акушера, – моя мать не желала этого ни за что. Отец просил и умолял ее отказаться на сей раз от своей прерогативы в этом вопросе и позволить ему сделать для нее выбор; – мать, напротив, настаивала на своей привилегии решать этот вопрос самостоятельно – и не принимать ни от кого помощи, как только от старой повитухи. – Что тут было делать отцу? Он истощил все свое остроумие; – – уговаривал ее на все лады; – представлял свои доводы в самом различном свете; – обсуждал с ней вопрос как христианин, – как язычник, – как муж, – как отец, – как патриот, – как человек... – Мать на все отвечала только как женщина; – ведь поскольку она не могла укрываться в этом бою за столь разнообразными ролями, – бой был неравный: – семеро против одного. – Что тут было делать матери? – – По счастью, она получила некоторое подкрепление в этой борьбе (иначе несомненно была бы побеждена) со стороны лежавшей у нее на сердце досады; это-то и поддержало ее и дало ей возможность с таким успехом отстоять свои позиции в споре с отцом, – – что обе стороны запели *Te Deum*. Словом, матери разрешено было пригласить старую повитуху, – акушер же получал позволение распить в задней комнате бутылку вина с моим отцом и дядей Тоби Шенди, – за что ему полагалось заплатить пять гиней.

Заканчивая эту главу, я должен сделать одно предостережение моим читательницам, – а именно: – пусть не считают они безусловно доказанным, на основании двух-трех слов, которыми я случайно обмолвился, – что я человек женатый. – Я согласен, что нежное обращение *моя милая, милая Дженни*, – наряду с некоторыми другими разбросанными там и здесь штрихами супружеской умудренности, вполне естественно могут сбить с толку самого беспристрастного судью на свете и склонить его к такому решению. – Все, чего я добиваюсь в этом деле, мадам, так это строгой справедливости. Проявите ее и ко мне и к себе самой хотя бы в той степени, – чтобы не осуждать меня заранее и не составлять обо мне превратного мнения, пока вы не будете иметь лучших доказательств, нежели те, какие могут быть в настоящее время представлены против меня. – Я вовсе не настолько тщеславен или безрассуден, мадам, чтобы пытаться внушить вам мысль, будто моя милая, милая Дженни является моей возлюбленной; – нет, – это было бы искажением моего истинного характера за счет другой крайности и создало бы впечатление, будто я пользуюсь свободой, на которую я, может быть, не могу претендовать. Я лишь утверждаю, что на протяжении нескольких томов ни вам, ни самому проницательному уму на свете ни за что не догадаться, как дело обстоит в действительности. – Нет ничего невозможного в том, что моя милая, милая Дженни, несмотря на всю нежность этого обращения, приходится мне дочерью. – – Вспомните, – я родился в восемнадцатом году. – Нет также ничего неестественного или нелепого в предположении, что моя милая Дженни является моим другом. – – Другом! – Моим другом. – Конечно, мадам, дружба между двумя полами может существовать и поддерживаться без... – – – Фи! Мистер Шенди! – Без всякой другой пищи, мадам, кроме того нежного и сладостного чувства, которое всегда примешивается к дружбе между лицами разного пола. Сблаговолите, пожалуйста, изучить чистые и чувствительные части лучших французских романов: – – вы, наверно, будете поражены, мадам, когда увидите, как богато разукрашено там целомудренными выражениями сладостное чувство, о котором я имею честь говорить.

Глава XIX

Я скорее взялся бы решить труднейшую геометрическую задачу, чем объяснить, каким образом джентльмен такого недюжинного ума, как мой отец, – сведущий, как, должно быть, уже заметил читатель, в философии и ею интересовавшийся, – а также мудро рассуждавший о политике – и никоим образом не невежда. (как это обнаружится дальше) в искусстве спорить, – мог забрать себе в голову мысль, настолько чуждую ходячим представлениям, – что боюсь, как бы читатель, когда я ее сообщу ему, не швырнул сейчас же книгу прочь, если он хоть немного холерического темперамента; не расхохотался от души, если он сангвиник; – и не предал ее с первого же взгляда полному осуждению, как дикую и фантастическую, если он человек серьезного и мрачного нрава. Мысль эта касалась выбора и наречения христианскими именами, от которых, по его мнению, зависело гораздо больше, чем то способны уразуметь поверхностные умы.

Мнение его в этом вопросе сводилось к тому, что хорошим или дурным именам, как он выражался, присуще особого рода магическое влияние, которое они неизбежно оказывают на наш характер и на наше поведение.

Герой Сервантеса не рассуждал на эту тему с большей серьезностью или с большей уверенностью, – он не мог сказать о злых чарах волшебников, порочивших его подвиги, – или об имени Дульцинеи, придававшем им блеск, – больше, чем отец мой говорил об именах Трисмегиста или Архимеда, с одной стороны, – или об именах Ники или Симкин⁴⁰, с другой. – Сколько Цезарей и Помпеев, – говорил он, – сделались достойными своих имен лишь в силу почерпнутого из них вдохновения. И сколько неудачников, – прибавлял он, – отлично преуспело бы в жизни, не будь их моральные и жизненные силы совершенно подавлены и уничтожены именем Никодема.

– Я ясно вижу, сэр, по глазам вашим вижу (или по чему-нибудь другому, смотря по обстоятельствам), – говорил обыкновенно мой отец, – что вы не расположены согласиться с моим мнением, – и точно, – продолжал он: – кто его тщательно не исследовал до самого конца, – тому оно, не спорю, покажется скорее фантастическим, чем солидно обоснованным; – и все-таки, сударь мой (если осмелюсь основываться на некотором знании вашего характера), я искренно убежден, что я немногим рискну, представив дело на ваше усмотрение, – не как стороне в этом споре, но как судье, – и доверив его решение вашему здравому смыслу и беспристрастному расследованию. – Вы свободны от множества мелочных предрассудков, прививаемых воспитанием большинству людей, обладаете слишком широким умом, чтобы оспаривать чье-нибудь мнение просто потому, что у него нет достаточно приверженцев. Вашего сына! – вашего любимого сына, – от мягкого и открытого характера которого вы так много ожидаете, – вашего Билли, сэр! – разве вы решились бы когда-нибудь назвать Иудой? – Разве вы, дорогой мой, – говорил мой отец, учтивейшим образом кладя вам руку на грудь, – тем мягким и неотразимым *riano*, которого обязательно требует *argumentum ad hominem*⁴¹ – разве вы, если бы какой-нибудь хриstopродавец предложил это имя для вашего мальчика и поднес вам при этом свой кошелек, разве вы согласились бы на такое надругательство над вашим сыном? – Ах, боже мой! – говорил он, поднимая кверху глаза, – если у меня правильное представление о вашем характере, сэр, – вы на это не способны; – вы бы отнеслись с негодованием к этому предложению; – вы бы с отвращением швырнули соблазн в лицо соблазнителью.

Величие духа, явленное вашим поступком, которым я восхищаюсь, и обнаруженное вами во всей этой истории великолепное презрение к деньгам поистине благородны; – но высшей похвалы достоин принцип, которым вы руководствовались, – а именно: ваша родительская любовь, в согласии с высказанной здесь гипотезой, подсказала вам, что если бы сын ваш назван был Иудой, – то мысль о гнусном предательстве, неотделимая от этого имени, всю жизнь сопро-

вождала бы его, как тень, и в конце концов сделала бы из него скрягу и подлеца, невзирая на ваш, сэръ, добрый пример.

Я не встречал человека, способного отразить этот довод. – Но ведь если уж говорить правду о моем отце, – то он был прямо-таки неотразим, как в речах своих, так и в словопрениях; – он был прирожденный оратор: Θεοδίδακτος⁴². – Убедительность, так сказать, опережала каждое его слово, элементы логики и риторики были столь гармонически соединены в нем, – и вдобавок он столь тонко чувствовал слабости и страсти своего собеседника, – что сама Природа могла бы свидетельствовать о нем: «этот человек красноречив». Короче говоря, защищал ли он слабую или сильную сторону вопроса, и в том и в другом случае нападать на него было опасно. – – А между тем, как это ни странно, он никогда не читал ни Цицерона, ни Квинтилиана «De Oratore», ни Исократы, ни Аристотеля, ни Лонгина⁴³ из древних; – – ни Фоссия, ни Скиоппия, ни Рама, ни Фарнеби⁴⁴ из новых авторов; – и, что еще более удивительно, ни разу в жизни не высек он в уме своем ни малейшей искорки ораторских тонкостей хотя бы беглым чтением Кракенторпа или Бургередиция, или какого-нибудь другого голландского логика или комментатора; он не знал даже, в чем заключается различие между *argumentum ad ignorantiam*⁴⁵ и *argumentum ad hominem*; так что, я хорошо помню, когда он привез меня для зачисления в колледж Иисуса в ***, – достойный мой наставник и некоторые члены этого учебного общества справедливо поражены были, – что человек, не знающий даже названий своих орудий, способен так ловко ими пользоваться.

А пользоваться ими по мере своих сил отец мой принужден был беспрестанно; – – ведь ему приходилось защищать тысячу маленьких парадоксов комического характера, – – большая часть которых, я в этом убежден, появилась сначала в качестве простых чудачеств на правах *vive la bagatelle*⁴⁶; позабавившись ими с полчаса и изощрив на них свое остроумие, он оставлял их до другого раза.

Я высказываю это не просто как гипотезу или догадку о возникновении и развитии многих странных воззрений моего отца, – но чтобы предостеречь просвещенного читателя против неосмотрительного приема таких гостей, которые, после многолетнего свободного и беспрепятственного входа в наш мозг, – в заключение требуют для себя права там поселиться, – действуя иногда подобно дрожжам, – но гораздо чаще по способу нежной страсти, которая начинается с шуток, – а кончается совершенно серьезно.

Было ли то проявлением чудачества моего отца, – или его здравый смысл стал под конец жертвой его остроумия, – и в какой мере во многих своих взглядах, пусть даже странных, он был совершенно прав, – – читатель, дойдя до них, решит сам. Здесь же я утверждаю только то, что в своем взгляде на влияние христианских имен, каково бы ни было его происхождение, он был серьезен; – тут он всегда оставался верен себе; – – тут он был систематичен и, подобно всем систематикам, готов был сдвинуть небо и землю и все на свете перевернуть для подкрепления своей гипотезы. Словом, повторяю опять: – он был серьезен! – и потому терял всякое терпение, видя, как люди, особенно высокопоставленные, которым следовало бы быть более просвещенными, – – проявляют столько же – а то и больше – беспечности и равнодушия при выборе имени для своих детей, как при выборе кличек Понто или Купидон для своих щенков.

– Дурная это манера, – говорил он, – и особенно в ней неприятно то, что с выбранным злонамеренно или неосмотрительно дрянным именем дело обстоит не так, как, скажем, с репутацией человека, которая, если она замарана, может быть потом обелена – – и рано или поздно, если не при жизни человека, то, по крайней мере, после его смерти, – так или иначе восстановлена в глазах света; но то пятно, – – говорил он, – никогда не смывается; – он сомневался даже, чтобы постановление парламента могло тут что-нибудь сделать. – – Он знал не хуже вашего, что законодательная власть в известной мере полномочна над фамилиями; – но по очень веским соображениям, которые он мог привести, она никогда еще не отваживалась, – говорил он, – сделать следующий шаг.

Замечательно, что хотя отец мой, вследствие этого мнения, питал, как я вам говорил, сильнейшее пристрастие и отвращение к некоторым именам, – однако наряду с ними существовало еще множество имен, которые были в его глазах настолько лишены как положительных, так и отрицательных качеств, что он относился к ним с полным равнодушием. Джек, Дик и Том были именами такого сорта; отец называл их нейтральными, – утверждая без всякой иронии, что с сотворения мира имена эти носило, по крайней мере, столько же негодяев и дураков, сколько мудрых и хороших людей, – так что, по его мнению, влияния их, как в случае равных сил, действующих друг против друга в противоположных направлениях, взаимно уничтожались; по этой причине он часто заявлял, что не ценит подобное имя ни в грош. Боб, имя моего брата, тоже принадлежало к этому нейтральному разряду христианских имен, очень мало влиявших как в ту, так и в другую сторону; и так как отец мой находился случайно в Эпсоме, когда оно было ему дано, – то он часто благодарил бога за то, что оно не оказалось худшим. Имя Андрей было для него чем-то вроде отрицательной величины в алгебре, – оно было хуже, чем ничего, – говорил отец. – Имя Вильям он ставил довольно высоко, – зато имя Нампс он опять-таки ставил очень низко, – а уж Ник⁴⁷, по его словам, было не имя, а черт знает что.

Но из всех имен на свете он испытывал наиболее непобедимое отвращение к Тристраму; – не было в мире вещи, о которой он имел бы такое низкое и уничтожающее мнение, как об этом имени, – будучи убежден, что оно способно произвести *in regum natura*⁴⁸ лишь что-нибудь крайне посредственное и убогое; вот почему посреди спора на эту тему, в который, кстати сказать, он частенько вступал, – он иногда вдруг раздражался горячей эпифонемой или, вернее, эротесисом⁴⁹, возвышая на терцию, а подчас и на целую квинту свой голос, – и в упор спрашивал своего противника, возьмется ли он утверждать, что помнит, – или читал когда-нибудь, – или хотя бы когда-нибудь слышал о человеке, который назывался бы Тристрамом и совершил бы что-нибудь великое или достойное упоминания? – Нет, – говорил он, – Тристрам! – Это вещь невозможная.

Так что же могло помешать моему отцу написать книгу и обнародовать эту свою идею? Мало пользы для тонкого спекулятивного ума оставаться в одиночестве со своими мнениями. – ему непременно надо дать им выход. – Как раз это и сделал мой отец: – в шестнадцатом году, то есть за два года до моего рождения, он засел за диссертацию, посвященную слову *Тристрам*, – в которой с большой прямоотой и скромностью излагал мотивы своего крайнего отвращения к этому имени.

Сопоставив этот рассказ с титульным листом моей книги, – благосклонный читатель разве не пожалеет от души моего отца? – Видеть методичного и благонамеренного джентльмена, придерживающегося усердно хотя и странных, – однако же безобидных взглядов, – столь жалкой игрушкой враждебных сил; – узреть его на арене поверженным среди всех его толкований, систем и желаний, опрокинутых и расстроенных, – наблюдать, как события все время оборачиваются против него, – и притом столь решительным и жестоким образом, как если бы они были нарочно задуманы и направлены против него, чтобы надругаться над его умозрениями! – – Словом, видеть, как такой человек на склоне лет, плохо приспособленный к невзгодам, десять раз в день терпит мучение, – десять раз в день называет долгожданное дитя свое именем Тристрам! – Печальные два слога! Они звучали для его слуха в унисон с простофилей и любым другим ругательным словом. – – Клянусь его прахом, – если дух злобы находил когда-либо удовольствие в том, чтобы расстраивать планы смертных, – так именно в данном случае; – и если бы не то обстоятельство, что мне необходимо родиться, прежде чем быть окрещенным, то я сию же минуту рассказал бы читателю, как это произошло.

Глава XX

— — — Как могли вы, мадам, быть настолько невнимательны, читая последнюю главу? Я вам сказал в ней, что моя мать не была паписткой. — Паписткой! Вы мне не говорили ничего подобного, сэ. — Мадам, позвольте мне повторить еще раз, что я это сказал настолько ясно, насколько можно сказать такую вещь при помощи недвусмысленных слов. — В таком случае, сэ, я, вероятно, пропустила страницу. — Нет, мадам, — вы не пропустили ни одного слова. — — Значит, я проспала, сэ. — Мое самолюбие, мадам, не может предоставить вам эту лазейку. — — В таком случае, объявляю, что я ровно ничего не понимаю в этом деле. — Как раз это я и ставлю вам в вину и в наказание требую, чтобы вы сейчас же вернулись назад, то есть, дойдя до ближайшей точки, перечитали всю главу сызнова.

Я назначил этой даме такое наказание не из каприза или жестокости, а из самых лучших намерений, и потому не стану перед ней извиняться, когда она кончит чтение. — Надо бороться с дурной привычкой, свойственной тысячам людей помимо этой дамы, — читать, не думая, страницу за страницей, больше интересуясь приключениями, чем стремясь почерпнуть эрудицию и знания, которые непременно должна дать книга такого размаха, если ее прочитать как следует. — — Ум надо приучить серьезно размышлять во время чтения и делать интересные выводы из прочитанного; именно в силу этой привычки Плиний Младший утверждает, что «никогда ему не случалось читать настолько плохую книгу, чтобы он не извлек из нее какой-нибудь пользы». Истории Греции и Рима, прочитанные без должной серьезности и внимания, — принесут, я утверждаю, меньше пользы, нежели история «Паризма» и «Паризмена»⁵⁰ или «Семерых английских героев»⁵¹, прочитанные вдумчиво.

— — — Но тут является моя любезная дама. — Что же, перечитали вы еще раз эту главу, как я вас просил? — Перечитали; и при этом вторичном чтении вы не обнаружили места, допускающего такой вывод? — — Ни одного похожего слова! — В таком случае, мадам, благоволите хорошенько поразмыслить над предпоследней строчкой этой главы, где я беру на себя смелость сказать: «Мне необходимо родиться, прежде чем быть окрещенным». Будь моя мать паписткой, мадам, в этом условии не было бы никакой надобности⁵².

Ужасное несчастье для моей книги, а еще более для литературного мира вообще, перед горем которого тускнеет мое собственное горе, — что этот гаденький зуд по новым ощущениям во всех областях так глубоко внедрил в наши привычки и нравы, — и мы настолько озабочены тем, чтобы получше удовлетворить эту нашу ненасытную алчность, — что находим вкус только в самых грубых и чувственных частях литературного произведения; — тонкие намеки и замысловатые научные сообщения улетают кверху, как духи; — тяжеловесная мораль опускается вниз, — и как те, так и другая пропадают для читателей, как бы продолжая оставаться на дне чернильницы.

Мне бы хотелось, чтобы мои читатели-мужчины не пропустили множество занятных и любопытных мест, вроде того, на котором была поймана моя читательница. Мне бы хотелось, чтобы этот пример возымел свое действие — и чтобы все добрые люди, как мужского, так и женского пола, почерпнули отсюда урок, что во время чтения надо шевелить мозгами.

Mémoire, présenté à Messieurs les Docteurs de Sorbonne⁵³

Un Chirurgien Accoucheur représente à Messieurs les Docteurs de Sorbonne, qu'il y a des cas, quoique très rares, où une mère ne sauroit accoucher, et même où l'enfant est tellement renfermé dans le sein de sa mère, qu'il ne fait paroître aucune partie de son corps, ce qui seroit un cas, suivant

le Rituels, de lui conférer, du moins sous condition, le baptême. Le Chirurgien, qui consulte, prétend, par le moyen d'une petite canule, de pouvoir baptiser immédiatement l'enfant, sans faire aucun tort à la mère. – Il demande si ce moyen, qu'il vient de proposer, est permis et légitime, et s'il peut s'en servir dans les cas qu'il vient d'exposer.

Réponse

Le Conseil estime, que la question proposée souffre de grandes difficultés. Les Théologiens posent d'un cote pour principe, que le baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une première naissance; il faut être né dans le monde, pour renaître en Jesus Christ, comme ils l'enseignent. S. Thomas, 3 part, quaest. 88, art. 11, suit cette doctrine comme une vérité constante; l'on ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermés dans le sein de leurs mères; et S. Thomas est fonde sur ce, que les enfans ne sont point nés, et ne peuvent être comptés parmi les autre hommes; d'où il conclue, qu'ils ne peuvent être l'objet d'une action extérieure, pour recevoir par leur ministère les sacremens nécessaires au salut : *Pueri in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem, ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subijci actioni humanae, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem.* Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les mêmes matières; et ils deffendent tous d'une manière uniforme, de baptiser les enfans qui sont renfermes dans le sein de leurs meres, s'ils ne font paroître quelque partie de leurs corps. Le concours des théologiens et des rituels, qui sont les règles des diocèses, paroît former une autorité qui termine la question présenté; cependant le conseil de conscience considerant d'un côté, que le raisonnement des théologiens est uniquement fonde sur une raison de convenance, et que la deffense des rituels suppose que l'on ne peut baptiser immédiatement les enfans ainsi renfermes dans le sein de leurs mères, ce qui est contre la supposition présenté; et d'une autre côté, considerant que les mêmes théologiens enseignent, que l'on peut risquer les sacremens que Jesus Christ a établis comme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes; et d'ailleurs estimant, que les enfans enfermés dans le sein de leurs mères pourroient être capables de salut, parce qu'ils sont capables de damnation ; – pour ces considerations, et en égard à l'exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermés, sans faire aucun tort a la mère, le Conseil estime que l'on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu'il a, que Dieu n'a point laissé ces sortes d'enfans sans aucun secours, et supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s'agit est propre à leur procurer le baptême; cependant comme il s'agiroit en autorisant la pratique proposée, de changer une regle universellement établie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s'adresser a son évêque, et a qui il appartient de juger de l'utilité et du danger du moyen proposé, et comme, sous le bon plaisir de l'évêque, le Conseil estime qu'il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d'expliquer les règles de l'église, et d'y déroger dans le cas, où la loi ne sçauroit obliger, quelque sage et quelque utile que paroisse la manière de baptiser dont il s'agit, le Conseil ne pourroit l'approuver sans le concours de ces deux autorités. On conseille au moins a celui qui consulte, de s'adresser à son évêque, et de lui faire part de la présente décision, afin que, si le prélat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignés s'appuyent, il puisse être autorisé dans le cas de nécessité, ou il risqueroit trop d'attendre que la permission fût demandée et accordée d'employer le moyen qu'il propose si avantageux au salut de l'enfant. Au reste, le Conseil, en estimant que l'on pourroit s'en servir, croit cependant, que si les enfans dont il s'agit, venoient au monde, contre l'espérance de ceux qui se seroient servis du même moyen, il seroit nécessaire de le baptiser sous condition, et en cela le Conseil se conforme a tous les rituels, qui en autorisant le baptême d'un enfant qui fait paroître quelque partie de son corps, enjoignent néanmoins, et ordonnent de le baptiser sous condition, s'il vient heureusement au monde.

Délibéré en Sorbonne, le 10 Avril, 1733.

*A Le Moynes, L. De Romigny, De Marcilly*⁵⁴.

Мистер Тристрам Шенди, свидетельствуя свое почтение господам де Муану, де Ромины и де Марсильи, надеется, что все они хорошо почивали ночью после столь утомительного совещания. – Он спрашивает, не будет ли проще и надежнее всех гомункулов окрестить единым махом на авось при помощи впрыскивания, немедленно после церемонии бракосочетания, но до его завершительного акта; – при условии, как и в вышеприведенном документе, чтобы каждый из гомункулов, если самочувствие его будет хорошее и он благополучно появится потом на свет, был бы окрещен вновь (*sous condition*⁵⁵) – и, кроме того, постановить, что операция будет произведена (а это мистер Шенди считает возможным) *par le moyen d'une petite canule et sans faire aucun tort au père*⁵⁶.

Глава XXI

– Интересно знать, что это за шум и беготня у них наверху, – проговорил мой отец, обращаясь после полторачасового молчания к дяде Тоби, – который, надо вам сказать, сидел по другую сторону камина, покуривая все время свою трубку в немом созерцании новой пары красовавшихся на нем черных плисовых штанов. – Что у них там творится, братец? – сказал мой отец. – Мы едва можем слышать друг друга.

– Я думаю, – отвечал дядя Тоби, вынимая при этих словах изо рта трубку и ударяя два-три раза головкой о ноготь большого пальца левой руки, – я думаю... – сказал он. – Но, чтобы вы правильно поняли мысли дяди Тоби об этом предмете, вас надо сперва немного познакомить с его характером, контуры которого я вам сейчас набросаю, после чего разговор между ним и моим отцом может благополучно продолжаться.

– Скажите, как назывался человек, – я пишу так торопливо, что мне некогда рыться в памяти или в книгах, – впервые сделавший наблюдение, «что погода и климат у нас крайне непостоянны»? Кто бы он ни был, а наблюдение его совершенно правильно. – Но вывод из него, а именно «что этому обстоятельству обязаны мы таким разнообразием странных и чудных характеров», – принадлежит не ему; – он сделан был другим человеком, по крайней мере, лет полтора ста спустя... Далее, что этот богатый склад самобытного материала является истинной и естественной причиной огромного превосходства наших комедий над французскими и всеми вообще, которые были или могли быть написаны на континенте, – это открытие произведено было лишь в середине царствования короля Вильгельма, – когда великий Драйден (если не ошибаюсь) счастливо попал на него в одном из своих длинных предисловий. Правда, в конце царствования королевы Анны великий Аддисон взял его под свое покровительство и полнее истолковал публике в двух-трех номерах своего «Зрителя»; но само открытие принадлежало не ему. – Затем, в-четвертых и в-последних, наблюдение, что вышеотмеченная странная беспорядочность нашего климата, порождающая такую странную беспорядочность наших характеров, – в некотором роде нас вознаграждает, давая нам материал для веселого развлечения, когда погода не позволяет выходить из дому, – это наблюдение мое собственное, – оно было произведено мной в дождливую погоду сегодня, 26 марта 1759 года, между девятью и десятью часами утра.

Таким-то образом, – таким-то образом, мои сотрудники и товарищи на великом поле нашего просвещения, жатва которого зреет на наших глазах, – таким-то образом, медленными шагами случайного приращения, наши физические, метафизические, физиологические, полемические, навигационные, математические, энигматические, технические, биографические, драматические, химические и акушерские знания, с пятьюдесятью другими их отраслями (большинство которых, подобно перечисленным, кончается на *ический*), в течение двух с лишним последних столетий постепенно всползали на ту *акци*⁵⁷ своего совершенства, от которой, если позволительно судить по их успехам за последние семь лет, мы, наверно, уже недалеко.

Когда мы ее достигнем, то, надо надеяться, положен будет конец всякому писанию, – а прекращение писания положит конец всякому чтению: – что со временем, – *как война рождает бедность, а бедность – мир*, – должно положить конец всякого рода наукам; а потом – нам придется начинать все сначала; или, другими словами, мы окажемся на том самом месте, с которого двинулись в путь.

– Счастливое, трижды счастливое время! Я бы только желал, чтобы эпоха моего зачатия (а также образ и способ его) была немного иной, – или чтобы ее можно было без какого-либо неудобства для моего отца или моей матери отсрочить на двадцать – двадцать пять лет, когда перед писателями, надо Думать, откроются некоторые перспективы в литературном мире.

Но я забыл о моем дяде Тоби, которому пришлось все это время вытряхивать золу из своей курительной трубки.

Склад его души был особенного рода, делающего честь нашей атмосфере; я без всякого колебания отнес бы его к числу первоклассных ее продуктов, если бы в нем не проступало слишком много ярко выраженных черт фамильного сходства, показывавших, что своеобразие его характера было обусловлено больше кровью, нежели ветром или водой, или какими-либо их видоизменениями и сочетаниями. В связи с этим меня часто удивляло, почему отец мой, не без основания подмечая некоторые странности в моем поведении, когда я был маленьким, – ни разу не попытался дать им такое объяснение; ведь все без исключения семейство Шенди состояло из чудачков; – я имею в виду его мужскую часть, – ибо женские его представительницы были вовсе лишены характера, – за исключением, однако, моей двоюродной тетки Дины, которая, лет шестьдесят тому назад, вышла замуж за кучера и прижила от него ребенка; по этому поводу отец мой, в согласии со своей гипотезой об именах, не раз говорил: пусть она поблагодарит своих крестных папаш и мамаш.

Может показаться очень странным, – а ведь загадывать загадки читателю отнюдь не в моих интересах, и я не намерен заставлять его ломать себе голову над тем, как могло случиться, что подобное событие и через столько лет не потеряло своей силы и способно было нарушать мир и сердечное согласие, царившие во всех других отношениях между моим отцом и дядей Тоби. Казалось, что несчастье это, разразившись над нашей семьей, вскоре истощит и исчерпает свои силы – как это обыкновенно и бывает. – Но у нас никогда ничего не делалось, как у других людей. Может быть, в то самое время, когда это стряслось, у нас было какое-нибудь другое несчастье; но так как несчастья ниспосылаются для нашего блага, а названное несчастье не принесло *семье Шенди* решительно ничего хорошего, то оно, возможно, притаилось в ожидании благоприятной минуты и обстоятельств, которые предоставили бы ему случай сослужить свою службу. – – Заметьте, что я тут ровно ничего не решаю. – – Мой метод всегда заключается в том, чтобы указывать любознательным питателям различные пути исследования, по которым они могли бы добраться до истоков затрагиваемых мной событий; – не педантически, подобно школьному учителю, и не в решительной манере Тацита, который так мудрит, что сбивает с толку и себя и читателя, – но с услужливой скромностью человека, поставившего себе единую цель – помогать пытливым умам. – Для них я пишу, – и они будут читать меня, – если мыслимо предположить, что чтение подобных книг удержится очень долго, – до скончания века.

Итак, вопрос, почему этот повод для огорчений не потерял своей силы для моего отца и дяди, я оставляю нерешенным. Но как и в каком направлении он действовал, обратившись в причину размолвок между ними, это я могу объяснить с большой точностью. Вот как было дело.

Мой дядя, Тоби Шенди, мадам, был джентльмен, который, наряду с добродетелями, обычно свойственными человеку безукоризненной прямоты и честности, – обладал еще, и притом в высочайшей степени, одной, редко, а то и вовсе не помещаемой в списке добродетелей: то была крайняя, беспримерная природная стыдливость: – впрочем, слово *природная* будет тут подходящим по той причине, что я не вправе предрешать вопрос, о котором вскоре пойдет речь, а именно: была ли эта стыдливость природной или приобретенной. – Но каким бы путем она ни досталась дяде Тоби, это все же была стыдливость в самом истинном смысле; притом, мадам, не в отношении слов, ибо, к несчастью, он располагал крайне ограниченным их запасом, – но в делах; и этого рода стыдливость была ему присуща в такой степени, она поднималась в нем до такой высоты, что почти равнялась, если только это возможно, стыдливости женщины: той женской взыскательности, мадам, той внутренней опрятности ума и воображения, свойственной вашему полу, которая внушает нам такое глубокое почтение к нему.

Вы, может быть, подумаете, мадам, что дядя Тоби почерпнул эту стыдливость из ее источника; – что он провел большую часть своей жизни в общении с вашим полом и что основательное знание женщин и неудержимое подражание столь прекрасным образцам – создали в нем эту привлекательную черту характера.

Я бы желал, чтобы так оно и было, а однако, за исключением своей невестки, жены моего отца и моей матери, – дядя Тоби едва ли обменялся с прекрасным полом тремя словами за три года. Нет, он приобрел это качество, мадам, благодаря удару. – – Удару! – Да, мадам, он им обязан был удару камнем, сорванным ядром с бруствера одного горнверка при осаде Намюра⁵⁸ и угодившим прямо в пах дяде Тоби. Каким образом удар камнем мог оказать такое действие? О, это длинная и любопытная история, мадам; – но если бы я вздумал вам ее излагать, то весь рассказ мой начал бы спотыкаться на все четыре ноги, – Я ее сохраняю в качестве эпизода на будущее, и каждое относящееся до нее обстоятельство будет в надлежащем месте добросовестно вам изложено. – А до тех пор я не вправе останавливаться на ней подробнее или сказать что-нибудь еще сверх уже сказанного, а именно – что дядя Тоби был джентльмен беспримерной стыдливости, которая еще как бы утончалась и обострялась неугасаемым жаром скромной семейной гордости, – и оба эти чувства были так сильны в нем, что он не мог без величайшего волнения слышать какие-либо разговоры о приключении с тетей Диной. Малейшего намека на него бывало достаточно, чтобы кровь бросилась ему в лицо, – когда мой отец распространялся на эту тему в случайном обществе, что ему часто приходилось делать для пояснения своей гипотезы, – эта злосчастная порча одной из прекраснейших веток нашей семьи была как нож в сердце дяди Тоби с его преувеличенным чувством чести и стыдливостью: часто он в невообразимом смятении отводил моего отца в сторону, журил его и говорил, что готов отдать ему все на свете, только бы он оставил эту историю в Покое.

Отец мой, я уверен, питал к дяде Тоби самую неподдельно нежную любовь, какая бывала когда-нибудь у одного брата к другому, и, чтобы успокоить сердце дяди Тоби в этом или в другом отношении, охотно сделал бы все, что один брат может разумно потребовать со стороны другого. Но исполнить эту просьбу было выше его сил.

– – Отец мой, как я вам сказал, был в полном смысле слова философ, – теоретик, – систематик; и приключение с тетей Диной было фактом столь же важным для него, как обратный ход планет для Коперника. Отклонения Венеры от своей орбиты укрепили Коперникову систему, названную так по его имени, а отклонения тети Дины от своей орбиты оказали такую же услугу укреплению системы моего отца, которая, надеюсь, отныне в его честь всегда будет называться *Шендиевой системой*.

Во всяком случае, другое семейное бесчестье вызвало бы у отца моего, насколько мне известно, такое же острое чувство стыда, как и у других людей, – и ни он, ни, полагаю, Коперник не предали бы огласке подмеченные ими странности и не привлекли бы к ним ничьего внимания, если бы не считали себя обязанными сделать это из уважения к истине. – *Amicus Plato*⁵⁹, – говорил обыкновенно мой отец, толкуя свою цитату, слово за словом, дяде Тоби, – *amicus Plato* (то есть Дина была моей теткой), *sed magis amica veritas*⁶⁰ – – (но истина моя сестра).

Это несходство характеров моего отца и дяди было источником множества стычек между братьями. Один из них терпеть не мог, чтобы при нем рассказывали об этом семейном позоре, – – а другой не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы так или иначе не намекнуть на него.

– Ради бога, – восклицал дядя Тоби, – и ради меня и ради всех нас, дорогой братец Шенди, – оставьте вы в покое эту историю с нашей теткой и не тревожьте ее праха; – – как можете вы, – – – как можете вы быть таким бесчувственным и безжалостным к доброй славе нашей семьи? – – Что такое для гипотезы слава семьи, – отвечал обыкновенно мой отец, – – И даже, если уж на то пошло, – что такое самая жизнь семьи? – – – Жизнь семьи! – восклицал

тогда дядя Тоби, откидываясь на спинку кресла и поднимая вверх руки, глаза и одну ногу. – – Да, жизнь, – повторял мой отец, отстаивая свое утверждение. – – Сколько тысяч таких жизней ежегодно терпят крушение (по крайней мере, во всех цивилизованных странах) – – и ставятся ни во что, ценятся не больше, чем воздух, – при состязании в гипотезах. – На мой бесхитрый взгляд, – отвечал дядя Тоби, – каждый такой случай есть прямое убийство, кто бы его ни совершил. – – Вот в этом-то и состоит ваша ошибка, – возражал мой отец, – ибо *in foro scientiae*⁶¹ не существует никаких убийств, есть только смерть, братец.

На это дядя Тоби, махнув рукой на всякие иные аргументы, насвистывал только полдюжины тактов Лиллибуллиро⁶². – – Надо вам сказать, что это был обычный канал, через который испарялось его возбуждение, когда что-нибудь возмущало или поражало его, – в особенности же, когда высказывалось суждение, которое он считал верхом нелепости.

Так как ни один из наших логиков или их комментаторов, насколько я могу припомнить, не счел нужным дать название этому особенному аргументу, – я беру здесь на себя смелость сделать это сам, по двум соображениям. Во-первых, чтобы, во избежание всякой путаницы в спорах, его всегда можно было так же ясно отличить от всех других аргументов, вроде *argumentum ad verecundiam*, *ex absurdo*, *ex fortiori*⁶³ и любого другого аргумента, – и, во-вторых, чтобы дети детей моих могли сказать, когда голова моя будет покоиться в могиле, – что голова их ученого дедушки работала некогда столь же плодотворно, как и головы других людей, что он придумал и великодушно внес в сокровищницу *Ars logica*⁶⁴ название для одного из самых неопровержимых аргументов в науке. Когда целью спора бывает скорее привести к молчанию, чем убедить, то они могут прибавить, если им угодно, – и для одного из лучших аргументов.

Итак, я настоящим строго приказываю и повелеваю, чтобы аргумент этот известен был под отличительным наименованием *argumentum fistulatorium*⁶⁵ и никак не иначе – и чтобы он ставился отныне в ряд с *argumentum baculinum*⁶⁶ и *argumentum ad crumenam*⁶⁷ и всегда трактовался в одной главе с ними.

Что касается *argumentum tripodium*⁶⁸, который употребляется исключительно женщинами против мужчин, и *argumentum ad rem*⁶⁹, которым, напротив, пользуются только мужчины против женщин, – то так как их обоих по совести довольно для одной лекции, – и так как, вдобавок, один из них является лучшим ответом на другой, – пусть они тоже будут обособлены и излагаются отдельно.

Глава XXII

Ученый епископ Холл⁷⁰, – я разумею знаменитого доктора Джозефа Холла, бывшего епископом Эксетерским в царствование короля Иакова Первого, – говорит нам в одной из своих Декад, которыми он заключает «Божественное искусство размышления», напечатанное в Лондоне в 1610 году Джоном Билом, проживающим в Олдерсгейт-стрит, что нет ничего отвратительнее самовосхваления, и я совершенно с ним согласен.

Но с другой стороны, если вам в чем-то удалось достичь совершенства и это обстоятельство рискует остаться незамеченным, – я считаю, что столь же отвратительно лишиться почести и сойти в могилу, унеся тайну своего искусства.

Я нахожусь как раз в таком положении.

Ибо в этом длинном отступлении, в которое я случайно был вовлечен, равно как и во все мои отступления (за единственным исключением), есть одна тонкость отступательного искусства, достоинства которого, боюсь, до сих пор ускользали от внимания моего читателя, и не по недостатку проницательности у него, а потому, что эту замечательную черту обычно не ищут и не предполагают найти в отступлениях: – состоит она в том, что хотя все мои отступления, как вы видите, правильные, честные отступления – и хотя я уклоняюсь от моего предмета не меньше и не реже, чем любой великобританский писатель, – однако я всегда стараюсь устроиться так, чтобы главная моя тема не стояла без движения в мое отсутствие.

Так, например, я только собрался было набросать вам основные черты крайне причудливого характера дяди Тоби, – как наткнулся на тетю Дину и кучера, которые увели нас за несколько миллионов миль, в самое средоточие планетной системы. Невзирая на это, вы видите, что обрисовка характера дяди Тоби потихоньку продолжалась все это время; конечно, проводилась она не в основных своих линиях, – это было бы невозможно, – зато попутно, там и здесь, намечались кое-какие интимные черточки и легкие штришки, так что теперь вы уже гораздо лучше знакомы с дядей Тоби, чем раньше.

Благодаря такому устройству, вся внутренняя механика моего произведения очень своеобразна: в нем согласно действуют два противоположных движения, считавшихся до сих пор несовместимыми. Словом, произведение мое отступательное, но и поступательное в одно и то же время.

Это обстоятельство, сэр, отнюдь не похоже на суточное вращение земли вокруг своей оси, совершаемое одновременно с поступательным движением по эллиптической орбите, которое, совершаясь в годовом круговороте, приводит с собой приятное разнообразие и смену времен года; впрочем, должен признаться, мысль моя получила толчок именно отсюда, – как, мне кажется, и все величайшие из прославленных наших изобретений и открытий порождены были такими же обыденными явлениями.

Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; – они составляют жизнь и душу чтения. – Изымите их, например, из этой книги, – она потеряет всякую цену: – холодная, беспросветная зима воцарится на каждой ее странице; отдайте их автору, и он выступает, как жених, – всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии яств и не дает уменьшиться аппетиту.

Все искусство в том, чтобы умело их состряпать и подать так, чтобы они служили к выгоде не только читателя, но и писателя, беспомощность которого в этом предмете поистине достойна жалости: ведь стоит ему только начать отступление, – и мгновенно все его произведение останавливается как вкопанное, – а когда он двинется вперед с главной своей темой, – тогда конец всем его отступлениям.

– Ничего не стоит такая работа. Вот почему я, как вы видите, с самого начала так перетасовал основную тему и приводящие части моего произведения, так переплел и перепутал

отступательные и поступательные движения, зацепив одно колесо за другое, что машина моя все время работает вся целиком и, что всего важнее, проработает так еще лет сорок, если пода-телю здоровья угодно будет даровать мне на такой срок жизнь и хорошее расположение духа.

Глава XXIII

Я чувствую сильную склонность начать эту главу самым нелепым образом и не намерен ставить препятствий своей фантазии. Вот почему приступаю я так:

Если бы в человеческую грудь вправлено было стекло, согласно предложению лукавого критика Мома⁷¹, – то отсюда, несомненно, вытекло бы, во-первых, то нелепое следствие, – что даже самые мудрые и самые важные из нас должны были бы до конца жизни платить той или иной монетой оконный сбор⁷².

И, во-вторых, что для ознакомления с чьим-либо характером ничего больше не требовалось бы, как, взяв портшез, потихонечку проследовать к месту наблюдения, как вы бы проследовали к прозрачному улью, – заглянуть в стеклышко, – увидеть в полной наготе человеческую душу, – понаблюдать за всеми ее движениями, – всеми ее тайными замыслами, – проследить все ее причуды от самого их зарождения и до полного созревания, – подстеречь, как она на свободе скачет и резвится; после чего, уделив немного внимания более чинному ее поведению, естественно сменяющему такие порывы, – взять перо и чернила и запечатлеть на бумаге исключительно лишь то, что вы увидели и можете клятвенно подтвердить. – Но на нашей планете писатель не обладает этим преимуществом, – на Меркурии оно (вероятно) у него есть, может быть даже, он там поставлен в еще более выгодные условия; – ведь страшная жара на этой планете, проистекающая от ее близкого соседства с солнцем и превосходящая, по вычислениям астрономов, жар раскаленную докрасна железа, – должно быть, давно уже обратила в стекло тела тамошних жителей (в качестве действующей причины), чтобы их приспособить к климату (что является причиной конечной); таким образом, пребывая в такой обстановке, вместилища их душ сверху донизу представляют собой не что иное (поскольку самая здравая философия не в состоянии доказать обратное), как тонкие прозрачные тела из? светлого стекла (за исключением пупочного узла); и вот, пока тамошние жители не состарятся и не покроются морщинами, отчего световые лучи, проходя сквозь них, подвергаются чудовищному преломлению, – или, отражаясь от них, достигают глаза по таким косым линиям, что увидеть человека насквозь невозможно, души их могут (если только они не вздумают соблюдать чисто внешние приличия или воспользоваться ничтожным прикрытием, которое им представляет точка пупка) – могут, повторяю я, с равным успехом дурачиться как внутри, так и вне своего жилища.

Но, как я уже сказал выше, это не относится к обитателям земли, – души наши не просвечивают сквозь тело, – все закутаны в темную оболочку необращенных в стекло плоти и крови; вот почему, если мы хотим проникнуть в характер наших ближних, нам надо как-то иначе приступить к этой задаче.

Воистину многообразны пути, по которым вынужден был направиться человеческий ум, чтобы дать ее точное решение.

Иные, например, рисуют все свои характеры при помощи духовых инструментов. – Вергилий пользуется этим способом в истории Дидоны и Энея; но он столь же обманчив, как дыхание славы, и, кроме того, свидетельствует об ограниченном даровании. Мне не безызвестно, что итальянцы притязают на математическую точность в обрисовках одного часто встречающегося среди них характера при помощи *forte* или *piano* некоего употребительного духового инструмента, который они считают непогрешимым. Я не решаюсь привести здесь название этого инструмента: – довольно будет, если я скажу, что он есть и у нас, – но нам в голову не приходит пользоваться им для рисования. – Это звучит загадочно, да и с расчетом на загадочность, по крайней мере *ad populum*⁷³, вот почему прошу вас, мадам, когда вы дойдете до этого места, читайте как можно быстрее и не останавливайтесь для наведения каких-либо справок.

Есть, далее, такие, что при обрисовке характера какого-нибудь человека пользуются только его выделениями, не прибегая больше ни к каким средствам: – но этот способ часто

дает весьма неправильное представление, – если вы не делаете одновременно наброска того, как этот человек наполняется; в таком случае, поправляя один рисунок по другому, вы составляете с помощью их обоих вполне приемлемый образ.

Я бы ничего не возражал против этого метода, – я только думаю, что он слишком отчетливо изобличает муки творчества, – и кажется еще более педантичным оттого, что заставляет вас бросить взгляд на остальные *non naturalia*⁷⁴ человека. Почему самые натуральные жизненные отправления человека должны называться ненатуральными – это другой вопрос.

Есть, в-четвертых, еще и такие, которые относятся с презрением ко всем этим выдумкам, – не потому, что у них самих богатое воображение, но благодаря усердному применению методов, напоминающих приспособления художников-пентаграфистов⁷⁵ по части снятия копий. – Таковы, да будет вам известно, великие историки.

Одного из них вы увидите рисующим характер во весь рост против света: – это неблагоприятно, нечестно и несправедливо по отношению к характеру человека, который позирует.

Другие, чтобы исправить дело, снимают с вас портрет в камере-обскуре: – это хуже всего, – так как вы можете быть уверены, что там вас изобразят в одной из самых смешных ваших поз.

Чтобы избежать всех этих ошибок при обрисовке характера дяди Тоби, я решил не прибегать ни к каким механическим средствам, равным образом и карандаш мой не подпадает под влияние никакого духового инструмента, в который когда-либо дули как по эту, так и по ту сторону Альп, – я не стану также рассматривать, чем он наполняется и что из себя извергает, или касаться его *non naturalia*, – короче говоря, я нарисую его характер на основании его конька.

Глава XXIV

Если бы я не был внутренне убежден, что читатель горит нетерпением узнать наконец характер дяди Тоби, – я бы предварительно постарался доказать ему, что нет более подходящего средства для обрисовки характеров, чем тот, на котором я остановил свой выбор.

Хотя я не берусь утверждать, что человек и его конек сносятся друг с другом точно таким же образом, как душа и тело, тем не менее между ними несомненно существует общение; и я склонен думать, что в этом общении есть нечто, весьма напоминающее взаимодействие наэлектризованных тел, и совершается оно посредством разгоряченной плоти всадника, которая входит в непосредственное соприкосновение со спиной конька. – От продолжительной езды и сильного трения тело всадника под конец наполняется до краев материей конька: – так что если только вы в состоянии ясно описать природу одного из них, – вы можете составить себе достаточно точное представление о способностях и характере другого.

Конек, на котором всегда ездил дядя Тоби, по-моему, вполне достоин подробного описания, хотя бы только за необыкновенную оригинальность и странный свой вид; вы могли бы проехать от Йорка до Дувра, – от Дувра до Пензенса в Корнуэльсе и от Пензенса обратно до Йорка⁷⁶ – и не встретили бы по пути другого такого конька; а если бы встретили, то, как бы вы ни спешили, вы б непременно остановились, чтобы его рассмотреть. В самом деле, поступь и вид его были так удивительны и весь он, от головы до хвоста, был до такой степени непохож на прочих представителей своей породы, что по временам поднимался спор, – да точно ли он конек. Но, подобно тому философу, который в спорах со скептиком, отрицавшим реальность движения, в качестве самого убедительного довода вставал на ноги и прохаживался по комнате, – дядя Тоби в доказательство того, что конек его действительно конек, просто-напросто садился на него и скакал, – предоставляя каждому решать вопрос по своему усмотрению.

По правде говоря, дядя Тоби садился на своего конька с таким удовольствием и тот вез дядю Тоби так хорошо, – что его очень мало беспокоило, что об этом говорят или думают другие.

Однако давно уже пора дать вам описание этого конька. – Но надо держаться определенного порядка, и потому позвольте раньше рассказать вам, как дяди Тоби им, обзавелся.

Глава XXV

Рана в паху, которую дядя Тоби получил при осаде Намюра, сделала его непригодным для службы, и ему оставалось только вернуться в Англию и там полечиться.

Целых четыре года был он прикован – сначала к своей постели, а потом к своей комнате, и во время лечения, продолжавшегося весь этот срок, он терпел невыразимые боли, – происшедшие от последовательных отслоений *os pubis*⁷⁷ и наружного края той части *coxendix*⁷⁸, которая называется *os ilium*⁷⁹, – – обе названные кости были у него плачевным образом раздроблены, как вследствие неправильной формы камня, который, как я вам сказал, сорвался с бруствера, – так и вследствие величины этого камня (довольно внушительной), – отчего лечивший его хирург все время склонялся к мысли, что сильные повреждения, произведенные им в паху дяди Тоби, обусловлены были скорее тяжестью камня, нежели его метательной силой, – и это было большое счастье для дяди Тоби. – часто говорил ему хирург.

Отец мой как раз в это время начинал дела в Лондоне и снял дом; а так как между двумя братьями были самые сердечные дружеские отношения и отец мой считал, что дядя Тоби нигде не мог бы получить столь внимательного и заботливого ухода, как у него в доме, – – то он предоставил ему лучшую комнату. – Но еще более красноречивым знаком его дружеских чувств было то, что стоило какому-нибудь знакомому или приятелю войти зачем-либо к нему в дом, как он брал его за руку и вел наверх, непременно желая, чтобы гость навестил его брата Тоби и поболтал часок у изголовья больного.

Рассказ о полученной ране облегчает солдату боль от нее: – так, по крайней мере, думали гости моего дяди, и часто, во время своих ежедневных визитов к нему, они из учтивости, происшедшей из этого убеждения, переводили разговор на его рану, – а от раны разговор обыкновенно переходил к самой осаде.

Беседы эти были чрезвычайно приятны, и дядя Тоби получал от них большое облегчение; они помогли бы ему еще больше, если бы не вовлекали его в кое-какие непредвиденные затруднения, которые в течение целых трех месяцев сильно задерживали его лечение, так что, не попадись ему под руку средство из них выпутаться, они, наверно, свели бы его в могилу.

В чем заключались затруднения дяди Тоби, – – – вам ни за что не отгадать; – будь это вам под силу, – я бы покраснел; не как родственник, – не как мужчина, – даже не как женщина, – нет, я бы покраснел как автор, поскольку я вменяю себе в особенную заслугу именно то, что мой читатель ни разу еще не мог ни о чем догадаться. И в этом отношении, сэр, я настолько щепетилен и привередлив, что, считай я вас способным составить сколько-нибудь приближающееся к истине представление или мало-мальски вероятное предположение о том, что произойдет на следующей странице, – я бы вырвал ее из моей книги.

Том второй

*Ταρασσει τους Ἀνθρώπος οὐ τα Πραγματα
'Αλλα τα περι των Πραγματων Δογματα.¹⁸⁰¹*

Глава I

Я начал новую книгу, чтобы иметь достаточно места для объяснения природы затруднений, в которые вовлечен был дядя Тоби благодаря многочисленным разговорам и расспросам относительно осады Намюра, где он получил свою рану.

Если читатель читал историю войн короля Вильгельма^[81], то я должен ему напомнить, а если не читал, – то я ему сообщаю, что одной из самых памятных атак в эту осаду была атака, произведенная англичанами и голландцами на вершину передового контрэскарпа перед воротами Святого Николая, который прикрывал большой шлюз; в этом месте англичане терпели страшный урон от огня с контргарды и полубастиона Святого Роха. Исход этой горячей схватки, в двух словах, был следующий: голландцы укрепились на контргарде, – англичане же овладели прикрытым путем перед воротами Святого Николая, несмотря на отвагу французских офицеров, которые, пренебрегая опасностью, шпагами защищали гласис.

Так как то была главная атака, очевидцем которой был дядя Тоби в Намюре, – слияние Мааса и Самбры разделяло осаждающую армию таким образом, что операции одной ее части были почти невидны для другой, – то дядя Тоби обыкновенно рассказывал с особым красноречием и подробностями именно о ней; и его затруднения проистекали главным образом от почти непреодолимых препятствий, которые он встречал при попытках сделать свой рассказ вразумительным и дать настолько ясное представление о всех тонких различиях между эскарпом и контрэскарпом, – – гласисом и прикрытым путем, – – демилюном и равелином, – чтобы для слушателей его было совершенно понятно, что он имеет в виду и о чем ведет речь.

Даже специалистам нередко случается путать эти термины; – – так что вы не должны удивляться, если при своих стараниях объяснить их и исправить многочисленные ошибочные представления дядя Тоби нередко сбивал с толку своих гостей, а подчас сбивался и сам.

По правде говоря, если гость, которого отец приглашал наверх, не обладал достаточно ясной головой или если дядя Тоби был не в ударе, то все его усилия избежать темноты в таких разговорах обыкновенно ни к чему не приводили.

Рассказ об этом деле получался у дяди Тоби запутанным в особенности потому, – что при атаке на контрэскарп перед воротами Святого Николая, тянувшийся от берега Мааса до большого шлюза, – местность была во всех направлениях пересечена таким множеством плотин, канав, ручьев и шлюзов, – он так безнадежно среди них путался и увязал, что часто не в состоянии был двинуться ни вперед, ни назад, даже для спасения своей жизни; много раз ему приходилось отказываться от атаки только по этой причине.

Эти досадные осечки причиняли моему дяде Тоби Шенди больше волнений, чем вы воображаете; а так как отец, желая сделать брату приятное, непрерывно приводил к нему все новых и новых приятелей и любопытных, – бедняге приходилось довольно туго.

Без сомнения, дядя Тоби был человек с большим самообладанием – и умел сохранять пристойный вид, я думаю, не хуже других; – но понятно, если он не мог выбраться из равелина, не попав в демилюн, или сойти с прикрытого пути, не свалившись на контрэскарп, не мог перейти плотину, не соскользнув в канаву, – понятно, как при таких условиях он должен был внутренне раздражаться, он и раздражался, – и хотя эти маленькие ежечасные неприятности могут показаться маловажными и не стоящими внимания человеку, не читавшему Гиппократу,

однако, кто читал Гиппократов или доктора Джемса Макензи^[82] и размышлял о действии страстей и душевного возбуждения на переваривание пищи (отчего не на переваривание раны в такой же степени, как и на переваривание обеда?), – тот легко поймет, какое резкое обострение боли должен был испытывать дядя Тоби единственно только по этой причине.

Дядя Тоби не в состоянии был философствовать на этот счет; – довольно было, что он так чувствовал, – и, натерпевшись боли и огорчений в течение трех месяцев сряду, он решил тем или иным способом от них избавиться.

Однажды утром лежал он на спине в своей постели, – природа его раны в паху и боль от нее не позволяли ему лежать в другом положении, – как вдруг его осенила мысль, что если бы удалось купить и наклеить на доску такую вещь, как большая карта города и крепости Намюра с окрестностями, то это, вероятно, принесло бы ему облегчение. Я отмечаю здесь желание дяди Тоби иметь под рукой окрестности города и крепости по той причине, что рана была им получена в одном из траверсов, сажень в тридцати от входящего угла траншеи и против исходящего угла полубастиона Святого Роха; – таким образом, он был почти уверен, что мог бы воткнуть булавку в то самое место, где он стоял, когда его ударило камнем.

Желание дяди Тоби исполнилось, и он, таким образом, не только избавился от массы докучных объяснений, но получил также, как вы увидите, счастливую возможность обзавестись своим коньком.

Глава II

Затрачиваясь на устройство подобного угощения, вы сделаете большую глупость, если так худо распорядитесь, что дадите вашим критикам и господам с разборчивым вкусом его разбранить; а вы их скорее всего к этому побудите, не послав им приглашения или, что ничуть не менее оскорбительно, сосредоточив все ваше внимание на остальных гостях, как будто за столом у вас не было ни одного (профессионального) критика.

— — — Я держусь настороже в отношении обеих этих оплошностей; в самом деле, я, во-первых, нарочно оставил полдюжины свободных мест, — а во-вторых, я с ними со всеми чрезвычайно обходителен. — Джентльмены, ваш покорный слуга уверяет вас, что ни одно общество не могло бы доставить ему и половины такого удовольствия, — видит бог, я рад вас принять, — прошу только вас быть как дома, садитесь без церемонии и кушайте на здоровье.

Я сказал, что оставил шесть мест, и готов был уже простереть свою любезность еще далее, освободив для них также и седьмое место, — то, у которого стою я сам; — но тут один критик (не профессиональный, — а природный) сказал мне, что я неплохо справился со своими обязанностями, так что я немедленно его займу, в надежде, однако, что в следующем году мест у меня будет гораздо больше.

— — — Но каким же образом, скажите на милость, мог ваш дядя Тоби, который, по-видимому, был военным и которого вы изображаете вовсе не глупым, — каким образом мог он быть в то же самое время таким путаным, тупым, бестолковым человеком, как — Убедитесь воочию.

Да, я мог бы ответить вам, сэр критик, но я считаю это ниже своего достоинства. — — — Это был бы бранный^[83] ответ, — — подходящий только для того, кто не в состоянии дать ясный и удовлетворительный отчет о предмете или проникнуть достаточно глубоко в первопричины человеческого невежества и запутанности наших мыслей. Кроме того, такой ответ был бы храбрым, и потому я его отвергаю: ибо хотя он как нельзя лучше шел бы дяде Тоби как солдату, — и не приобрети он в таких атаках привычки насвистывать Лиллибуллиро, — он бы, верно, и дал его, потому что был человеком храбрым; все-таки ответ этот для меня совсем не годится. Вы же ясно видите, что я пишу как человек ученый, что даже мои сравнения, мои намеки, мои пояснения, мои метафоры все ученые, — и что я должен подобающим образом выдержать свою роль, а также подобающим образом ее оттенить, — иначе что бы со мной случилось? Да я бы погиб, сэр! — В ту самую минуту, когда я готовлюсь затворить двери перед одним критиком, я бы впустил к себе двух других.

— — — — Поэтому я отвечаю так:

Скажите, пожалуйста, сэр, среди прочитанных вами за вашу жизнь книг попадался ли вам когда-нибудь «Опыт о человеческом разуме» Локка? — — — Не отвечайте слишком поспешно, — ведь многие, я знаю, ссылаются на эту книгу, не прочитав ее, и многие ее читали, ничего в ней не понимая. — Пели вы принадлежите к числу тех или других, я в двух словах — ведь пишу я с просветительными целями — скажу вам, что это за книга. — Это история. — История! Чья? Чего? Откуда? С каких пор? — Не горячитесь. — — Книга эта, сэр, посвящена истории (и за одно это ее можно порекомендовать каждому) того, что происходит в человеческом уме; и если вы скажете о названной книге только это и ничего больше, поверьте, вы будете в метафизических кругах далеко не последним человеком.

Но это мимоходом.

Теперь же, если вы решаетесь последовать за мной дальше и заглянуть в самый корень вопроса, то увидите, что причины темноты и путаницы в человеческом уме бывают трех родов.

Во-первых, милостивый государь, притупленность органов чувств. Во-вторых, слабость и мимолетность впечатлений, производимых предметами даже в тех случаях, когда названные органы чувств не притуплены. И в-третьих, подобная решетку память, неспособная удерживать

то, что она получает. – Кликните Долли, вашу горничную, и я согласен отдать вам свой колпак с колокольчиком, если мне не удастся представить дело это с такой ясностью, что даже Долли все поймет не хуже Мальбранша^[84].

– – Вот Долли написала письмо Робину и сунула руку в сумочку, висящую у нее на правом боку, – воспользуйтесь этим случаем и припомните, что на свете нет ничего более подходящего для образного представления и уяснения деятельности наших органов чувств и способностей восприятия, чем та вещица, которую отыскивает рука Долли. – Органы чувств у вас не настолько притуплены, чтобы мне надо было подсказывать вам, сэр, что это – палочка красного сургуча.

Если сургуч растопился и капнул на письмо, а Долли слишком долго шарит за наперстком, так что сургуч тем временем успевае застыть, то наперсток не оставит на нем отпечатка при умеренном нажиме, которого обыкновенно бывает достаточно. Прекрасно. Если Долли, за отсутствием сургуча, пожелает запечатать свое письмо воском, или ее сургуч окажется слишком мягким, – то хотя и получится отпечаток, однако он не сохранится – как бы сильно Долли ни прижимала конец наперстка; и, наконец, если даже сургуч и наперсток хороши, но Долли спешит и запечатывает письмо небрежно, потому что раздается звонок ее госпожи, – во всех трех случаях отпечаток, оставленный наперстком, будет так же мало похож на свой образец, как на медный грош.

А теперь извольте знать, что ни одна из этих причин не была причиной путаницы в речах дяди Тоби; именно поэтому я, по примеру великих физиологов, так долго на них останавливался, чтобы показать, откуда она не проистекала.

А откуда она проистекала, я дал понять выше; это обильный источник темноты – и всегда таким останется; – я разумею расплывчатое употребление слов, путавшее даже самые светлые и самые возвышенные умы.

Десять против одного (у Артура^[85]), что вы никогда не читали литературных анналов прошедших веков; – а если читали, – то знаете, какие страшные битвы, именуемые логомахиями, порождены были этим расплывчатым словоупотреблением и длились до бесконечности, сопровождаясь таким пролитием желчи и чернил, что люди отзывчивые не могут без слез читать повествования о них.

Благосклонный критик! когда ты взвесишь и примешь во внимание, как часто собственные твои знания, речи и беседы расстраивались и запутывались в разное время по этой, и только по этой, причине; – какой шум и гвалт поднимался на *соборах* по поводу *ουοια* и *υλοοταοις*^[86], а в *школах* ученых – по поводу силы и по поводу духа, – по поводу эссенций и по поводу квинтэссенций, – – по поводу субстанций и по поводу пространства; какая получалась неразбериха на еще более обширных *подмостках* из-за самых малозначащих и неопределенных по смыслу слов; – когда ты это вспомнишь, – тебя перестанут удивлять затруднения дяди Тоби, – ты уронишь слезу жалости на его эскарпы и контрэскарпы, – на его гласисы и прикрытые пути, – на его равелины и демиллюны. Отнюдь не идеи, – боже упаси! – опасностью его жизни угрожали слова.

Глава III

Раздобыв карту Намюра по своему вкусу, дядя Тоби немедленно принялся самым усердным образом ее изучать: а так как для него важнее всего было выздороветь, выздоровление же его зависело, как вы знаете, от умиротворения страстей и душевных волнений, то ему, понятно, надо было постараться настолько овладеть своим предметом, чтобы быть в состоянии говорить о нем совершенно спокойно.

После двухнедельных усердных и изнурительных занятий, которые, кстати сказать, не пошли впрок его ране в паху, – Дядя Тоби способен был, с помощью некоторых примечаний на полях под текстом фолианта да переведенной с фламандского «Военной архитектуры и пиробаллогии» Гобезия^[87], придать своей речи достаточно ясности; а не прошло и двух месяцев, – как он стал прямо-таки красноречив и не только мог повести в полном порядке атаку на передовой контрэскарп, – но, проникнув за это время в военное искусство гораздо глубже, чем было необходимо для его первоначальной цели, – дядя Тоби мог также переправиться через Маас и Самбру, совершать диверсии до самой линии Вобана, аббатства Сальсин и т. д. и давать своим посетителям такое же отчетливое описание всех других атак, как и атаки на ворота Святого Николая, в которой он имел честь получить свою рану.

Но жажда знаний, подобно жажде богатств, растет вместе с ее удовлетворением. Чем больше дядя Тоби изучал свою карту, тем больше она приходилась ему по вкусу, – в силу такого же процесса электрической ассимиляции, как и тот, посредством которого, по моему мнению, уже вам изложенному, души знатоков, благодаря долгому трению и тесному соприкосновению с предметом своих занятий, имеют счастье стать под конец совершенными – картинными, – мотыльковыми, – скрипичными.

Чем больше пил дядя из этого сладостного источника знания, тем более жгучей и нестерпимой делалась его жажда; так что не истек еще до конца первый год его заключения, а уже едва ли был укрепленный город в Италии или во Фландрии, плана которого он бы не раздобыл тем или иным способом, – читая, по мере их приобретения, и тщательно сопоставляя между собой истории осад этих городов, их разрушений, перестройки и укрепления заново; все это делал он с таким глубоким вниманием и наслаждением, что забывал себя, свою рану, свое заключение и свой обед.

На другой год дядя Тоби купил Рамолли и Катанео в переводе с итальянского, – а также Стевина, Маролиса, шевалье де Виля, Лорини, Коегорна, Шейтера, графа де Пагана, маршала Вобана и мосье Блонделя^[87] вместе с почти таким же количеством книг по военной архитектуре, какое найдено было у Дон Кихота о рыцарских подвигах, когда священник и цирюльник произвели набег на его библиотеку.

К началу третьего года, а именно в августе шестьсот девяносто девятого года, дядя Тоби нашел нужным ознакомиться немного с баллистикой. – Рассудив, что лучше всего почерпнуть свои знания из первоисточника, он начал с Н. Тарталья, который первый, кажется, открыл ошибочность мнения, будто пушечное ядро производит свои опустошения, двигаясь по прямой линии. – Н. Тарталья доказал дяде Тоби, что это вещь невозможная.

– – – Нет конца разысканию истины!

Едва только дядя Тоби удовлетворил свою любознательность насчет пути, по которому не следует пушечное ядро, как незаметно он был увлечен далее и решил про себя поискать и найти путь, по которому оно следует; для этого ему пришлось снова отправиться в дорогу со стариком Мальтусом, которого он усердно проштудировал. Далее он перешел к Галилею и Торричелли^[87] и нашел у них непогрешимо доказанным при помощи некоторых геометрических выкладок, что названное ядро в точности описывает параболу – или, иначе, гиперболу – и что параметр, или *latus rectum*, конического сечения, по которому движется ядро, находится

в таком же отношении к расстоянию и дальности выстрела, как весь пройденный ядром путь к синусу двойного угла падения, образуемого казенной частью орудия на горизонтальной плоскости; и что полупараметр – – – стоп! дорогой дядя Тоби, – стоп! – ни шагу дальше по этой тернистой и извилистой стезе, – опасен каждый шаг дальше! опасны излучины этого лабиринта! опасны хлопоты, в которые вовлечет тебя погоня за этим манящим призраком – Знанием! – Ах, милый дядя, прочь – прочь – прочь от него, как от змеи! – Ну разве годится тебе, добрый мой дядя, просиживать ночи напролет с раной в паху и горячить себе кровь изнурительными бессонницами? – Увы! они обострят твои боли, – задержат выделение пота, – истребят твою бодрость, – разрушат твои силы, – высушат первичную твою влагу, – создадут в тебе предрасположение к запорам, – подорвут твоё здоровье, – вызовут раньше времени все старческие немощи. – Ах, дядя! милый дядя Тоби!

Глава IV

Я бы гроша не дал за искусство писателя, который не понимает того, – что даже наилучший в мире непритязательный рассказ, если его поместить сразу после этого прочувствованного обращения к дяде Тоби, – покажется читателю холодным и бесцветным; – поэтому я и оборвал предыдущую главу, хотя еще далеко не закончил своего повествования.

– – – Писатели моего склада держатся одного общего с живописцами правила. В тех случаях, когда рабское копирование вредит эффективности наших картин, мы избираем меньшее зло, считая более извинительным погрешить против истины, чем против красоты. – Это следует понимать *cum grano salis*^[88], но, как бы там ни было, – параллель эта проведена здесь, собственно, только для того, чтобы дать остыть слишком горячему обращению, – и потому несущественно, одобряет или не одобряет ее читатель в каком-либо другом отношении.

Заметив в конце третьего года, что параметр и полупараметр конического сечения расстраивают его рану, дядя Тоби в сердцах оставил изучение баллистики и весь отдался практической части фортификации, вкус к которой, подобно напряжению закрученной пружины, вернулся к нему с удвоенной силой.

В этот год дядя впервые изменил своей привычке надевать каждый день чистую рубашку, – начал отсылать от себя цирюльника, не побрившись, – и едва давал хирургу время перевязать себе рану, о которой теперь так мало беспокоился, что за семь перевязок ни разу не спросил о ее состоянии. – Как вдруг, – совершенно неожиданно, ибо перемена произошла с быстротой молнии, – он затосковал по своему выздоровлению, – стал жаловаться моему отцу, сердился на хирурга, – и однажды утром, услышав на лестнице его шаги, захлопнул свои книги, отшвырнул прочь инструменты и стал осыпать его упреками за слишком затянувшееся лечение, которое, – сказал он, – давно уже пора было закончить. – Долго говорил он о перенесенных им страданиях и о томительности четырехлетнего печального заточения, – прибавив, что если бы не приветливые взгляды и не дружеские утешения лучшего из братьев, – он бы давно уже свалился под тяжестью своих несчастий. – Отец находился тут же. Красноречие дяди Тоби вызвало слезы у него на глазах, – настолько было оно неожиданно. – Дядя Тоби по природе не был красноречив, – тем более сильный эффект произвело его выступление. – Хирург смутился; – не оттого, что не было причин для такого или даже большего нетерпения, – но и оно было неожиданно: четыре года ходил он за больным, а еще ни разу не случилось ему видеть, чтобы дядя Тоби так себя вел; – ни разу не произнес он ни одного гневного или недовольного слова; – он весь был терпение, – весь покорность.

Проявляя терпеливость, мы иногда теряем право на то, чтобы нас пожалели, – но чаще мы таким образом утраиваем силу жалости. – Хирург был поражен, – но он был прямо ошеломлен, когда дядя Тоби самым решительным тоном потребовал, чтобы его рана была вылечена немедленно, – – иначе он обратится к мосье Ронжа^[89], лейб-хирургу короля, чтобы тот заступил его место.

Жажда жизни и здоровья заложена в самой природе человека; – любовь к свободе и простору ее родная сестра. Оба эти чувства свойственны были дяде Тоби наравне со всеми людьми – и каждого из них было бы достаточно, чтобы объяснить его жгучее желание поправиться и выходить из дому; – – но я уже говорил, что в нашей семье все делается не так, как у людей; – и, подумав о времени и способе, каким это страстное желание проявилось в настоящем случае, проницательный читатель догадается, что оно вызвано было еще какой-то причиной или причудой, сидевшей в голове у дяди Тоби. – Это верно, и предметом следующей главы как раз и будет описание этой причины или причуды. Надо с этим поспешить, потому что, признаюсь, пора уже вернуться к местечку у камина, где мы покинули дядю Тоби посередине начатой им фразы.

Глава V

Когда человек отдает себя во власть господствующей над ним страсти, – или, другими словами, когда его конек закусывает удила, – прощай тогда трезвый рассудок и осмотрительность!

Рана дяди Тоби почти совсем не давала о себе знать, и как только хирург оправился от изумления и получил возможность говорить, – он сказал, что ее как раз начало затягивать и что если не произойдет новых отслоений, никаких признаков которых не замечается, – то через пять-шесть недель она совсем зарубцуется. Такое же число олимпиад показалось бы дяде Тоби двенадцать часов тому назад более коротким сроком. – Теперь мысли у него сменялись быстро; – он сгорал от нетерпения осуществить свой замысел; – вот почему, ни с кем больше не посоветовавшись, – что, к слову сказать, я считаю правильным, когда вы заранее решили не слушаться ничьих советов, – он секретно приказал Триму, своему слуге, упаковать корпию и пластыри и нанять карету четверкой, распорядившись, чтобы она была подана ровно в двенадцать часов, когда мой отец, по дядиным сведениям, должен был находиться на бирже. – Затем, оставив на столе банковый билет хирургу за его труды и письмо брату с выражением сердечной благодарности, – дядя Тоби уложил свои карты, книги по фортификации, инструменты и т. д. – и, при поддержке костыля с одной стороны и Трима с другой, – сел в карету и отбыл в Шенди-Холл.

Причины этого внезапного отъезда, или, вернее, поводы к нему, были следующие:

– Стол в комнате дяди Тоби, за которым он сидел накануне переворота, окруженный своими картами и т. д., – был несколько маловат для бесконечного множества обыкновенно загромождавших его больших и малых научных инструментов; – протянув руку за табакеркой, дядя нечаянно свалил на пол циркуль, а нагнувшись, чтобы его поднять, задел рукавом готовальню и щипцы для снятия нагара, – и так как ему положительно не везло, то при попытке поймать щипцы на лету – он уронил со стола мосье Блонделя, а на него графа де Пагана.

Такому калеке, как дядя Тоби, нечего было и думать о восстановлении порядка самостоятельно, – он позвонил своему слуге Триму. – Трим! – сказал дядя Тоби, – посмотри-ка, что я тут натворил. – Мне надо бы завести что-нибудь поудобнее, Трим. – Не можешь ли ты взять линейку и смерить длину и ширину этого стола, а потом заказать мне вдвое больший? – Так точно, с позволения вашей милости, – отвечал с поклоном Трим, – а только я надеюсь, что ваша милость вскоре настолько поправится, что сможет переехать к себе в деревню, а там, – коли вашей милости так по сердцу фортификация, мы эту штуку разделаем под орех.

Должен вам здесь сообщить, что этот слуга дяди Тоби, известный под именем Трима, служил капралом в дядиной роте; – его настоящее имя было Джеймс Батлер, – но в полку его прозвали Тримом, и дядя Тоби, если только не бывал очень сердит на капрала, никогда иначе его не называл.

Рана от мушкетной пули, попавшей ему в левое колено в сражении при Ландене^[90], за два года до дела под Намюром; сделала беднягу негодным к службе; – но так как он пользовался в полку общей любовью и был вдобавок мастер на все руки, то дядя Тоби взял его к себе в услужение, и Трим оказался чрезвычайно полезен, исполняя при дяде Тоби в лагере и на квартире обязанности камердинера, стремянного, цирюльника, повара, портного и сидельца; он ходил за дядей и ему прислуживал с великой верностью и преданностью во всем.

Зато и любил его дядя Тоби, в особенности же его привязывала к своему слуге одинаковость их познаний. – Ибо капрал Трим (как я его отныне буду называть), прислушиваясь в течение четырех лет к рассуждениям своего господина об укрепленных городах и пользуясь постоянной возможностью заглядывать и совать нос в его планы, карты и т. д., не только перенял причуды своего господина в качестве его слуги, хотя сам и не садился на дядино конька, –

— — сделал немалые успехи в фортификации и был в глазах кухарки и горничной не менее сведущим в науке о крепостях, чем сам дядя Тоби. Мне остается положить еще один мазок для завершения портрета капрала Трима, — единственное темное пятно на всей картине. — Человек любил давать советы, — или, вернее, слушать собственные речи; но его манера держаться была необыкновенно почтительна, и вы без труда могли заставить его хранить молчание, когда вы этого хотели; но стоило языку его завертеться, — и вы уже не в силах были его остановить: — — язык у капрала был чрезвычайно красноречив. — — Обильное уснащение речи *вашей милостью* и крайняя почтительность капрала Трима говорили с такой силой в пользу его красноречия, — что как бы оно вам ни докучало, — — вы не могли всерьез рассердиться. Что же касается дяди Тоби, то он относился к этому благодушно, — или, по крайней мере, этот недостаток Трима никогда не портил отношений между ними. Дядя Тоби, как я уже сказал, любил Трима; — кроме того, он всегда смотрел на верного слугу — как на скромного друга, — он не мог бы решиться заставить его замолчать. — Таков был капрал Трим.

— Смею просить дозволения подать вашей милости совет, — продолжал Трим, — и сказать, как я думаю об этом деле. — Сделай одолжение, Трим, — отвечал дядя Тоби, — говори, — говори, не робей, что ты об этом думаешь, дорогой мой. — Извольте, — отвечал Трим (не с понуренной головой и почесывая в затылке, как неотесанный мужик, а) откинув назад волосы и становясь навтыжку, точно перед своим взводом.

— — Я думаю, — сказал Трим, выставляя немного вперед свою левую, хроющую ногу — и указывая разжатой правой рукой на карту Дюнкерка, пришпиленную к драпировке, — я думаю, — сказал капрал Трим, — покорно склоняясь перед разумнейшим мнением вашей милости, что эти равелины, бастионы, куртины и горнверки — жалость и убожество здесь на бумаге, — безделица по сравнению с тем, что ваша милость и я могли бы соорудить, будь мы с вами в деревне и имей мы в своем распоряжении четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать как нам вздумается. Наступает лето, — продолжал Трим, — и вашей милости можно будет выходить на воздух и давать мне ногафию — — (— Говори ихнографию^[91], — заметил дядя) — города или крепости, которые вашей милости угодно будет обложить, — и пусть ваша милость меня расстреляет на гласисе этого города, если я не укреплю его, как будет угодно вашей милости. — Я не сомневаюсь, что ты с этим справишься, Трим, — проговорил дядя. — Ведь вашей милости, — продолжал капрал, — надо было бы только наметить мне полигон и точно указать линии и углы. — Мне бы это ничего не стоило, — перебил его дядя. — Я бы начал с крепостного рва, если бы вашей милости угодно было указать мне глубину и ширину. — Я их тебе укажу со всей точностью, — заметил дядя. — По одну руку я бы выкидывал землю к городу для эскарпа, а по другую — к полю для контрэскарпа. — Совершенно правильно, Трим, — проговорил дядя Тоби. — И, устроив откосы по вашему плану, — я, с дозволения вашей милости, выложил бы гласис дерном, — как это принято в лучших укреплениях Фландрии, — — — стены и брустверы я, как полагается и как вашей милости известно, тоже отделал бы дерном. — Лучшие инженеры называют его газоном, Трим, — сказал дядя Тоби. — Газон или дерн, не важно, — возразил Трим, — вашей милости известно, что это в десять раз лучше облицовки кирпичом или камнем. — — Я знаю, Трим, что лучше во многих отношениях, — подтвердил дядя Тоби, кивнув головой, — так как пушечное ядро зарывается прямо в газон, не разрушая стенок, которые могут засыпать мусором ров (как это случилось у ворот Святого Николая) и облегчить неприятелю переход через него.

— Ваша милость понимает эти дела, — отвечал капрал Трим, — лучше всякого офицера армии его величества; — но ежели бы вашей милости угодно было отменить заказ стола и распорядиться о нашем отъезде в деревню, я бы стал работать как лошадь по указаниям вашей милости и соорудил бы вам такие укрепления, что пальчики оближешь, с батареями, крытыми ходами, рвами и палисадами, — словом, за двадцать миль кругом все бы приезжали поглядеть на них.

Дядя Тоби вспыхнул, как огонь, при этих словах Трима: – но то не была краска вины, – или стыда, – или гнева; – то была краска радости; – его воспламенили проект и описание капрала Трима. – Трим! – воскликнул дядя Тоби, – – довольно, замолчи. – Мы могли бы начать кампанию, – продолжал Трим, – в тот самый день, как выступят в поход его величество и союзники, и разрушать тогда город за городом с той же быстротой. – – Трим, – остановил его дядя Тоби, – ни слова больше. – Ваша милость, – продолжал Трим, – могли бы в хорошую погоду сидеть в своем кресле (при этом он показал пальцем на кресло) – и давать мне приказания, а я бы – – – Ни слова больше, Трим, – проговорил дядя Тоби. – – Кроме того, ваша милость не только получили бы удовольствие и приятно проводили время, но дышали бы также свежим воздухом, делали бы моцион, нагуляли бы здоровье, – и в какой-нибудь месяц зажила бы рана вашей милости. – Довольно, Трим, – сказал дядя Тоби (опуская руку в карман своих штанов), – проект твой мне ужасно нравится. – И коли угодно вашей милости, я сию минуту пойду куплю саперный заступ, который мы возьмем с собой, и закажу лопату и кирку вместе с двумя... – Больше ни слова, Трим, – воскликнул дядя Тоби вне себя от восхищения, подпрыгнув на одной ноге, – – и, сунув гинеею в руку Трима, – – Трим, – проговорил дядя Тоби, – больше ни слова, – а спустишь, голубчик Трим, сию минуту вниз и мигом принеси мне поужинать.

Трим сбежал вниз и принес своему господину поужинать, – совершенно зря: – – план действий Трима так прочно засел в голове дяди Тоби, что еда не шла ему на ум. – Трим, – сказал дядя Тоби, – отведи меня в постель. – Опять никакого толку. – Картина, нарисованная Тримом, воспламенила его воображение, – дядя Тоби не мог сомкнуть глаз. – Чем больше он о ней думал, тем обворожительней она ему представлялась; – так что еще за два часа до рассвета он пришел к окончательному решению и обдумал во всех подробностях план совместного отъезда с капралом Тримом.

В деревне Шенди, возле которой расположено было поместье моего отца, у дяди Тоби был собственный приветливый домик, завещанный ему одним стариком дядей вместе с небольшим участком земли, который приносил около ста фунтов годового дохода. К дому примыкал огород площадью в полакра, – а в глубине огорода, за высокой живой изгородью из тисовых деревьев, была лужайка как раз такой величины, как хотелось капралу Триму. – Вот почему, едва только Трим произнес слова: «четверть или треть акра земли, на которой мы могли бы хозяйничать как нам вздумается», – – как эта самая лужайка мигом всплыла в памяти и загорелась живыми красками перед мысленным взором дяди Тоби; – – – это и было материальной причиной появления румянца на его щеках, или, по крайней мере, яркости этого румянца, о которой сказано было выше.

Никогда любовник не спешил к своей возлюбленной с более пылкими надеждами, чем дядя Тоби к своей лужайке, чтобы насладиться ею наедине; – говорю: наедине, – ибо она укрыта была от дома, как уже сказано, высокой изгородью из тисовых деревьев, а с трех других сторон ее защищали от взоров всех смертных дикий остролист и густой цветущий кустарник; – таким образом, мысль, что его здесь никто не будет видеть, не в малой степени повышала предвкушаемое дядей Тоби удовольствие. – Пустая мечта! Какие бы густые насаждения ни окружали эту лужайку, – – какой бы ни казалась она укромной, – надо быть слишком наивным, милый дядя Тоби, собираясь наслаждаться вещью, занимающей целую треть акра, – так, чтобы никто об этом не знал!

Как дядя Тоби и капрал Трим справились с этим делом, – и как протекали их кампании, которые отнюдь не были бедны событиями, – это может составить небезынтересный эпизод в завязке и развитии настоящей драмы. – Но сейчас сцена должна перемениться – и перенести нас к местечку у камина в гостиной Шенди.

Глава VI

– – – Что у них там творится, братец? – спросил мой отец. – Я думаю, – отвечал дядя Тоби, вынув, как сказано, при этих словах изо рта трубку и вытряхивая из нее золу, – я думаю, братец, – отвечал он, – что нам не худо было бы позвонить.

– Послушай, Обадия, что значит этот грохот у нас над головой? – спросил отец. – Мы с братом едва слышим собственные слова.

– Сэр, – отвечал Обадия, делая поклон в сторону своего левого плеча, – госпоже моей стало очень худо. – А куда это несется через сад Сузанна, точно ее собрались насиловать? – – Сэр, – отвечал Обадия, – она бежит кратчайшим путем в город за старой повивальной бабкой. – – Так седлай коня и скачи сию минуту к доктору Слопу, акушеру, засвидетельствуй ему наше почтение – и скажи, что у госпожи твоей начались родовые муки – и что я прошу его как можно скорее прибыть сюда с тобой.

– Очень странно, – сказал отец, обращаясь к дяде Тоби, когда Обадия затворил дверь, – что при наличии поблизости такого сведущего врача, как доктор Слуп, – жена моя до последнего мгновения не желает отказаться от своей нелепой причуды доверить во что бы то ни стало жизнь моего ребенка, с которым уже случилось одно несчастье, невежеству какой-то старухи; – – и не только жизнь моего ребенка, братец, – но также и собственную жизнь, а с нею вместе жизнь всех детей, которых я мог бы еще иметь от нее в будущем.

– Может быть, братец, – отвечал дядя Тоби, – моя невестка поступает так из экономии. – Это – экономия на объедках пудинга, – возразил отец: – – доктору все равно придется платить, будет ли он принимать ребенка или нет, – в последнем случае даже больше, – чтобы не выводить его из терпения.

– – – В таком случае, – сказал дядя Тоби в простоте сердца, – поведение ее не может быть объяснено ничем иным, – как только стыдливостью. – Моя невестка, по всей вероятности, – продолжал он, – не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле ее... – Я не скажу, закончил ли на этом свою фразу дядя Тоби или нет; – – – в его интересах предположить, что закончил, – – так как, я думаю, он не мог бы прибавить ни одного слова, которое ее бы улучшило.

Если, напротив, дядя Тоби не довел своего периода до самого конца, – то мир обязан этим трубке моего отца, которая неожиданно сломалась, – один из великолепных примеров той фигуры, служащей к украшению ораторского искусства, которую риторы именуют умолчанием. – Господи боже! Как *росо ріù* и *росо мено*^[92] итальянских художников – нечувствительное *больше* или *меньше* определяет верную линию красоты в предложении, так же как и в статуе! Как легкий нажим резца, кисти, пера, смычка *et caetera*^[93] дает ту истинную полноту выражения, что служит источником истинного удовольствия! – Ах, милые соотечественники! – будьте взыскательны; – будьте осторожны в речах своих, – – и никогда, ах! никогда не забывайте, от каких ничтожных частиц зависит ваше красноречие и ваша репутация.

– – Должно быть, моя невестка, – сказал дядя Тоби, – не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле ее... Поставьте здесь тире, – получится умолчание. – Уберите тире – и напишите: *зада*, – выйдет непристойность. – Зачеркните: *зада*, и поставьте: *крытого хода*, – вот вам метафора; – а так как дядя Тоби забил себе голову фортификацией, – то я думаю, что если бы ему было предоставлено что-нибудь прибавить к своей фразе, – он выбрал бы как раз это слово.

Было ли у него такое намерение или нет, – и случайно ли сломалась в критическую минуту трубка моего отца или он сам в гневе сломал ее, – выяснится в свое время.

Глава VII

Хотя отец мой был превосходным натурфилософом, – в нем было также нечто от моралиста; вот почему, когда его трубка разломалась пополам, – – ему бы надо было только – в качестве такового – взять два куска и спокойно бросить их в огонь. – Но он этого не сделал; – он их швырнул изо всей силы; – и чтобы придать своему жесту еще больше выразительности, – он вскочил на ноги.

Было немного похоже на то, что он вспыхнул; – – характер его ответа дяде Тоби показал, что так оно и случилось.

– Не хочет, – сказал отец, повторяя слова дяди Тоби, – чтобы мужчина находился так близко возле ее... Ей-богу, братец Тоби! вы истощили бы терпение Иова; – а я, и не имея его терпения, несусь, кажется, все постигшие его наказания.

– – Каким образом? – Где? – В чем? – – Почему? – По какому поводу? – проговорил дядя Тоби в полнейшем недоумении. – – Подумать только, – отвечал отец, – чтобы человек дожил до вашего возраста, братец, и так мало знал женщин! – Я их совсем не знаю, – возразил дядя Тоби, – и думаю, – продолжал он, – что афронт, который я потерпел в деле с вдовой Водмен через год после разрушения Дюнкерка, – потерпел, как вы знаете, только благодаря полному незнанию прекрасного пола, – афронт этот дает мне полное право сказать, что я ровно ничего не понимаю в женщинах и во всем, что их касается, и не притязую на такое понимание. – – Мне кажется, братец, – возразил отец, – вам бы следовало, по крайней мере, знать, с какого конца надо подступать к женщине.

В шедевре Аристотеля сказано, что «когда человек думает о чем-нибудь прошедшем, – он опускает глаза в землю; – но когда он думает о будущем, то поднимает их к небу».

Дядя Тоби, надо полагать, не думал ни о том, ни о другом, – потому что взор его направлен был горизонтально. – «С какого конца», – проговорил дядя Тоби и, повторяя про себя эти слова, машинально остановил глаза на расщелине, образованной в облицовке камина худо пригнанными изразцами. – С какого конца подступать к женщине! – – Право же, – объявил дядя, – я так же мало это знаю, как человек с луны; и если бы даже, – продолжал дядя Тоби (не отрывая глаз от худо пригнанных изразцов), – я размышлял целый месяц, все равно я бы не мог ничего придумать.

– В таком случае, братец Тоби, – отвечал отец, – я вам скажу.

– Всякая вещь на свете, – продолжал отец (набивая новую трубку), – всякая вещь на свете, дорогой братец Тоби, имеет две рукоятки. – Не всегда, – проговорил дядя Тоби. – По крайней мере, – возразил отец, – у каждого из нас есть две руки, – что сводится к тому же самому. – Так вот, когда усядешься спокойно и поразмыслишь относительно вида, формы, строения, доступности и сообразности всех частей, составляющих животное, называемое женщиной, да сравнишь их по аналогии – – Я никогда как следует не понимал значения этого слова, – – – перебил его дядя Тоби. – – – Аналогия, – отвечал отец, – есть некоторое родство и сходство, которые различные... Тут страшный стук в дверь разломал пополам определение моего отца (подобно его трубке) – и в то же самое время обезглавил самое замечательное и любопытное рассуждение, когда-либо зарождавшееся в недрах умозрительной философии; – прошло несколько месяцев, прежде чем отцу представился случай благополучно им разрешиться; – в настоящее же время представляется столь же проблематичным, как и предмет этого рассуждения (принимая во внимание запущенность и бедственное положение домашних наших дел, в которых неудача громоздится на неудаче), – удастся ли мне найти для него место в третьем томе или же нет.

Глава VIII

Прошло часа полтора неторопливого чтения с тех пор, как дядя Тоби позвонил и Обадиа получил приказание седлать лошадь и ехать за доктором Слопом, акушером; – никто поэтому не вправе утверждать, будто, поэтически говоря, а также принимая во внимание важность поручения, я не дал Обадии достаточно времени на то, чтобы съездить туда и обратно; – – – хотя, говоря прозаически и реалистически, он за это время едва ли даже успел надеть сапоги.

Если слишком строгий критик, основываясь на этом, решит взять маятник и измерить истинный промежуток времени между звоном колокольчика и стуком в дверь – и, обнаружив, что он равняется двум минутам и тринадцати и трем пятым секунды, – вздумает придраться ко мне за такое нарушение единства или, вернее, правдоподобия, времени, – я ему напомню, что идея длительности и простых ее модусов^[94] получена единственно только из следования и смены наших представлений – и является самым точным ученым маятником; – и вот, как ученый, я хочу, чтобы меня судили в этом вопросе согласно его показаниям, – с негодованием отвергая юрисдикцию всех других маятников на свете.

Я бы, следовательно, попросил моего критика принять во внимание, что от Шенди-Холла до дома доктора Слопа, акушера, всего восемь жалких миль, – и что, пока Обадиа ездил к доктору и обратно, я переправил дядю Тоби из Намюра через всю Фландрию в Англию, – продержал его больным почти четыре года, – а затем увез в карете четверкой вместе с капралом Тримом почти за двести миль от Лондона в Йоркшир. – Все это, вместе взятое, должно было приготовить воображение читателя к выходу на сцену доктора Слопа – не хуже (надеюсь), чем танец, ария или концерт в антракте пьесы.

Если мой строгий критик продолжает стоять на своем, утверждая, что две минуты и тринадцать секунд навсегда останутся только двумя минутами и тринадцатью секундами, – что бы я о них ни говорил; – и что хотя бы мои доводы спасали меня драматургически, они меня губят как жизнеописателя, обращая с этой минуты мою книгу в типичный роман, между тем как ранее она была книгой в смысле жанра отреченной. – – Что же, если меня приперли таким образом к стенке, – я разом кладу конец всем возражениям и спорам моего критика, – доводя до его сведения, что, не отъехал еще Обадиа шестидесяти ярдов от конюшни, как встретил доктора Слопа; и точно, он представил грязное доказательство своей встречи с ним – и чуть было не представил также доказательства трагического.

Вообразите себе... Но лучше будет начать с этого новую главу.

Глава IX

Вообразите себе маленькую, приземистую, мешковатую фигуру доктора Слопа, ростом около четырех с половиной футов, с такой широкой спиной и выпяченным на полтора фута брюхом, что они сделали бы честь сержанту конной гвардии.

Таков был внешний вид доктора Слопа. – Если вы читали «Анализ Красоты»^[95] Хогарта (а не читали, так советую вам прочесть), – то вы должны знать, что карикатуру на такую внешность и представление о ней можно с такой же верностью дать тремя штрихами, как и тремя сотнями штрихов.

Вообразите же себе такую фигуру, – ибо таков, повторяю, был внешний вид доктора Слопа, – медленно, шажком, ковыляющей по грязи на позвонках маленького плюгавого пони, – приятной масти, – но силы, – увы! – – едва достаточной для того, чтобы семенить ногами под такой ношей, будь даже дороги в сносном состоянии. – Они в нем не находились. – – – Вообразите теперь Обадию, взобравшегося на могучее чудовище – каретную лошадь – и скачущего во весь опор галопом навстречу.

Прошу вас, сэр, уделите минуту внимания картине, которую я вам нарисую.

Если бы доктор Слоп за милю приметил Обадию, несущегося с такой чудовищной скоростью прямо на него по узкой дороге, – – ныряющего, как черт, в топи и болота и все обдающего грязью при своем приближении, разве подобный феномен, вместе с движущимся вокруг его оси вихрем грязи и воды, – не стал бы для доктора Слопа в его положении предметом более законного страха, нежели худшая из комет Вистона^[96]? – О ядре и говорить нечего, то есть о самом Обадии и его каретной лошади. – – – На мой взгляд, одного поднятого ими вихря было бы довольно, чтобы завертеть и унести с собой если не доктора, то, по крайней мере, его пони. Так вот вы представляете себе, – сколь сильными должны были быть ужас и страх пред морем воды, испытываемые доктором Слопом, читая (а сейчас вы именно это сделаете), что он ехал не торопясь в Шенди-Холл и находился уже в шестидесяти ярдах от дома и в пяти ярдах от крутого поворота, образованного острым углом садовой ограды, – на самом грязном участке грязной дороги, – – как вдруг из-за этого угла вылетают бешеным галопом – бац – прямо на него Обадия со своей каретной лошадей! – Кажется, во всем мире невозможно предположить ничего страшнее подобного столкновения – так беспомощен был доктор Слоп! так плохо подготовлен к тому, чтобы выдержать этот сокрушительный удар!

Что ему было делать? – Он перекрестился. – Очень глупо! – Но доктор, сэр, был папист. – Все равно, – лучше бы он держался за луку седла. – Разумеется; – а еще лучше, как показали события, если бы он вовсе ничего не делал; – ибо, осеняя себя крестом, он выронил хлыст, – и при попытке поймать его между коленями и седлом, когда хлыст туда скользнул, он потерял стремя, – а потеряв стремя, потерял равновесие; – в довершение всех этих потерь (которые, кстати сказать, показывают, как мало пользы приносит крестное знамение) несчастный доктор потерял самообладание. Поэтому, не дожидаясь наскока Обадии, он предоставил пони своей участи, полетев с него кувырком, наподобие и по способу тюка шерсти, и без всяких других последствий от этого падения, кроме того что (опять же как тюк шерсти) дюймов на двенадцать зарылся в грязь самой широкой своей частью.

Обадия дважды снял шапку перед доктором Слопом: – – раз, когда тот падал, – и другой раз, когда он увидел его сидящим. – Несвоевременная учтивость! – – Разве не лучше было ему остановить коня, соскочить на землю и помочь доктору? – Сэр, он сделал все, что мог сделать в своем положении; – однако инерция бега упряжной лошади была так велика, что Обадия не в состоянии был сделать это сразу; – – трижды описал он круг возле доктора Слопа, прежде чем ему удалось остановить своего коня; когда же он наконец в этом успел, то произвел такое извержение грязи, что лучше бы Обадии было находиться за милю оттуда. Словом, никогда

еще не бывал доктор Слуп так загажен и так пресуществлен, с тех пор как пресуществления^[97] вошли в моду.

Глава X

Когда доктор Слоп вошел в гостиную, где мой отец и дядя Тоби рассуждали о природе женщин, – трудно сказать, что их больше поразило: вид доктора Слопа или его появление; дело в том, что несчастье случилось с ним так близко от дома, что Обадия не считал нужным снова усадить его на пони – и привел в комнату так, как он был: не обтертого, не прибранного, не умашенного, всего покрытого пятнами и комьями грязи. – – Недвижен и безгласен, как призрак из «Гамлета», целых полторы минуты стоял доктор в дверях гостиной (Обадия все еще держал его за руку) во всем величии грязи. Спина его и зад, на которые он упал, были совершенно загрязнены, – а все другие части так основательно забрызганы произведенным Обадией извержением, что вы смело могли бы поклясться (без всяких мысленных оговорок), что ни один комочек грязи не пропал даром.

Тут дяде Тоби представился прекрасный случай отыграться и взять верх над моим отцом; – ибо ни один смертный, увидевший доктора Слопа в этом соусе, не стал бы спорить с дядей Тоби, по крайней мере насчет того, что его невестка, должно быть, не хотела, чтобы такой субъект, как доктор Слоп, находился так близко возле ее..... Но то был *argumentum ad hominem*, и вы можете подумать, что дядя Тоби не хотел к нему прибегать, потому что был в нем не очень искусен. – Нет; истинная причина заключалась в том, – что наносить оскорбления было не в его характере.

Появление доктора Слопа в эту минуту было не менее загадочно, чем способ его появления; хотя моему отцу стоило бы только минуту подумать, и он, наверно, разрешил бы загадку; ибо всего неделю тому назад он дал знать доктору Слопу, что мать моя на сносях; а так как с тех пор доктор не получал никаких вестей, то с его стороны было естественно, а также очень политично предпринять поездку в Шенди-Холл, что он и сделал, просто для того, чтобы посмотреть, как там идут дела.

Но при решении вставшей перед ним задачи мысли моего отца пошли, к несчастью, по ложному пути; как и мысли упомянутого выше строгого критика, они все вертелись вокруг звона колокольчика и стука в дверь, мерили расстояние между ними и настолько приковали все внимание отца к этой операции, что он не в состоянии был думать ни о чем другом, – обычная слабость величайших математиков, которые так усердно трудятся над доказательством своих положений и настолько при этом истощают все свои силы, что уже не способны ни на какое практически полезное применение доказанного.

Звон колокольчика и стук в дверь сильно подействовали также и на сенсории^[98] дяди Тоби, – но они дали его мыслям совсем иное направление: – эти два несовместимые сотрясения воздуха тотчас пробудили в сознании дяди Тоби мысль о великом инженере Стевине^[99]. – Какое отношение имел Стевин к этой истории – задача чрезвычайно трудная, – ее надо будет решить, но не в ближайшей главе.

Глава XI

Писание книг, когда оно делается умело (а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так), равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать все, – так и ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать. Лучший способ оказать уважение уму читателя – поделиться с ним по-дружески своими мыслями, предоставив некоторую работу также и его воображению.

Что касается меня, то я постоянно делаю ему эту любезность, прилагая все усилия к тому, чтобы держать его воображение в таком же деятельном состоянии, как и мое собственное.

Теперь его очередь; – я дал ему подробное описание неприглядного падения доктора Слопа и его неприглядного появления в гостиной; – – пусть же теперь воображение читателя работает некоторое время без посторонней помощи.

Пусть читатель вообразит, что доктор Слор рассказал свое приключение, – такими словами и с такими преувеличениями, как будет угодно его фантазии. – – Пусть предположит он, что Обадия тоже рассказал, что с ним случилось, сопровождая свой рассказ такими жалостными гримасами притворного сочувствия, какие, по мнению читателя, наиболее подходят для противопоставления двух этих фигур. – Пусть он вообразит, что отец мой поднялся наверх узнать о состоянии моей матери; – и, для завершения этой работы фантазии, – пусть он вообразит себе доктора умытого, – – вычищенного, – – выслушавшего соболезнования, поздравления, – обутого в шлепанцы Обадии – и в таком виде направляющегося к дверям с намерением сейчас же приступить к делу.

Тихонько! – тихонько, почтенный доктор Слор! – удержи твою родовспомогательную руку; – засунь ее осторожно за пазуху, чтобы она оставалась теплой; – ты недостаточно ясно знаешь, какие препятствия, – неотчетливо представляешь себе, какие скрытые причины мешают ее манипуляциям! – Был ли ты, доктор Слор, – был ли ты посвящен в тайные статьи торжественного договора, который привел тебя сюда? Известно ли тебе, что в эту самую минуту дочь Люцины^[100] занята своим делом у тебя над головой? Увы! – это совершенная истина. – Кроме того, великий сын Пилумна^[101], что ты в состоянии сделать? – – Ты пришел сюда невооруженным; – ты оставил дома *tire-tête*, – недавно изобретенные акушерские щипцы, – крошет, – шприц и все принадлежащие тебе инструменты спасения и освобождения. – – – Боже мой! в эту минуту они висят в зеленом байковом мешке, между двумя пистолетами, у изголовья твоей кровати! – Звони; зови; – вели Обадии сесть на каретную лошадь и скакать за ними во весь опор.

– Поторопись, Обадия, – проговорил мой отец, – я дам тебе корону! – А я другую, – сказал дядя Тоби.

Глава XII

– Ваше внезапное и неожиданное прибытие, – сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу (они сидели втроем у камина, когда дядя Тоби начал говорить), – тотчас же привело мне на мысль великого Стевина, который, надо вам сказать, один из любимых моих писателей. – В таком случае, – заявил мой отец, прибегая к доводу, *ad cuneis*, – ставлю двадцать гиней против одной кроны (которую получит Обадия, когда вернется), что этот Стевин был каким-нибудь инженером, – или писал что-нибудь – прямо или косвенно – об искусстве фортификации.

– Это правда, – отвечал дядя Тоби. – Я так и знал, – сказал отец, – хоть я, клянусь, не вижу, какая может быть связь между внезапным приходом доктора Слопа и трактатом о фортификации: – тем не менее я этого опасался. – О чем бы мы ни говорили, братец, – пусть предмет разговора будет самым чуждым и неподходящим для вашей излюбленной темы, – вы непременно на нее собьетесь. Я не желаю, братец Тоби, – продолжал отец, – решительно не желаю до такой степени засорять себе голову куртинами и горнверками^[102]. – – О, я в этом уверен! – воскликнул доктор Слуп, перебивая его, и громко расхохотался, довольный своим каламбуром.

Даже критик Деннис^[103] не чувствовал столь глубокого отвращения, как мой отец, к каламбурам и ко всему, что их напоминало, – они его всегда раздражали; – но прервать каламбуром серьезное рассуждение было, по его словам, все равно что дать щелчка по носу; – он не видел никакой разницы.

– Сэр, – сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу, – куртины, о которых говорит мой брат Шенди, не имеют никакого отношения к кроватям, – хоть, я знаю, дю Канж^[104] говорит, что «от них, по всей вероятности, получили свое название гардины у кровати»; – равным образом горнверки, или рогатые укрепления, о которых он говорит, не имеют решительно ничего общего с рогатым украшением обманутого мужа. – Куртина, сэр, есть термин, которым мы пользуемся в фортификации для обозначения части стены или вала, расположенной между двумя бастионами и их соединяющей. – Осаждающие редко решаются направлять свои атаки непосредственно на куртины по той причине, что последние всегда хорошо фланкированы. (Так же обстоит дело и с гардинами, – со смехом сказал доктор Слуп.) Тем не менее, – продолжал дядя Тоби, – для большей надежности мы обыкновенно строим перед ними рavelины, стараясь их по возможности выносить за крепостной *fosse*, или ров. – Люди невоенные, которые мало понимают в фортификации, смешивают рavelин с демиллюном, – хотя это вещи совершенно различные; – не по виду своему или конструкции, – мы их строим совершенно одинаково: – они всегда состоят из двух фасов, образующих выдвинутый в поле угол, с горжами, проведенными не по прямой линии, а в форме полумесяца. – В чем же тогда разница? (спросил отец с некоторым раздражением). – В их положении, братец, – отвечал дядя Тоби: – когда рavelин стоит перед куртиной, тогда он рavelин; когда же рavelин стоит перед бастионом, тогда рavelин уже не рavelин; – тогда он демиллюн; – равным образом демиллюн есть демиллюн, и ничего больше, когда он стоит перед бастионом; – но если бы ему пришлось переменить место и расположиться перед куртиной, – он бы не был больше демиллюном: демиллюн в этом случае не демиллюн; он всего только рavelин. – Я думаю, – сказал отец, – что ваша благородная наука обороны имеет свои слабые стороны, – как и все прочие науки.

– Что же касается горнверков (ох-ох! – вздохнул отец), о которых заговорил мой брат, – продолжал дядя Тоби, – то они составляют весьма существенную часть внешних укреплений; – французские инженеры называют их *ouvrages a cornes*, и мы их обыкновенно сооружаем для прикрытия наиболее слабых, по нашему предположению, пунктов; – они образуются двумя земляными насыпями, или полубастионами, и с виду очень красивы; – если вы ничего не име-

ете против маленькой прогулки, я берусь вам показать один горнверк, стоящий того, чтобы на него поглядеть. – Нельзя отрицать, – продолжал дядя Тоби, – что, будучи увенчаны, они гораздо сильнее; по тогда они обходятся очень дорого и занимают слишком много места; таким образом, по моему мнению, они особенно полезны для прикрытия или защиты передней части укрепленного лагеря; иначе двойной теналь... – Клянусь матерью, которая нас родила, – воскликнул отец, не в силах долее сдерживаться, – вы и святого вывели бы из терпения, братец Тоби; – ведь вы не только, не понимаю каким образом, снова окунулись в излюбленный ваш предмет, но голова ваша так забита этими проклятыми укреплениями, что в настоящую минуту, когда жена моя мучится родами, – и до вас доносятся ее крики, – вы знать ничего не знаете и непременно хотите увести повивальщика. – Акушера, если вам угодно, – поправил отца доктор Слуп. – С удовольствием, – отвечал отец, – мне все равно, как вас называют, – я только хочу послать к черту всю эту фортификацию со всеми ее изобретателями; – она свела в могилу тысячи людей – и в конце концов сведет меня. – Я не желаю, братец Тоби, засорять себе мозги сапами, минами, блиндами, турами, палисадами, рavelинами, демиллюнами и прочей дребеденью, хотя бы мне подарили Намюр со всеми фламандскими городами в придачу.

Дядя Тоби терпеливо сносил обиды; – не по недостатку храбрости, – я уже говорил вам в пятой главе настоящей второй книги, что он был человек храбрый, – а здесь прибавлю, что в критических случаях, когда храбрость требовалась обстоятельствами, я не знаю человека, под чьей защитой я бы сознавал себя в большей безопасности. Это происходило и не от бесчувственности или от тупости его ума; – ибо он воспринимал нанесенное ему отцом оскорбление так же остро, как и самый чувствительный человек; – но он был кроткого, миролюбивого нрава, – в нем не содержалось ни капли сварливости; – все в нем дышало такой добротой! У дяди Тоби не нашлось бы жестокости отомстить даже мухе.

– Ступай, – сказал он однажды за столом большущей мухе, жужжавшей у него под носом и ужасно его изводившей в течение всего обеда, – пока наконец ему не удалось, после многих безуспешных попыток, поймать ее на лету; – я тебе не сделаю больно, – сказал дядя Тоби, вставая со стула и переходя через всю комнату с мухой в руке, – я не трону ни одного волоса на голове у тебя: – ступай, – сказал он, поднимая окошко и разжимая руку, чтобы ее выпустить; – ступай с богом, бедняжка, зачем мне тебя обижать? – Свет велик, в нем найдется довольно места и для тебя и для меня.

Мне было всего десять лет, когда это случилось; – но сам ли поступок дядин больше гармонировал с душевным, моим состоянием в этом склонном к жалости возрасте, так что все существо мое мгновенно замерло в блаженнейшем трепете; – или же на меня подействовало то, как и с каким выражением был он совершен, – и в какой степени и в силу какого тайного волшебства – согретые добротой тон голоса и гармония движений нашли доступ к моему сердцу, – я не знаю; – знаю только, что урок благожелательства ко всем живым существам, преподанный тогда дядей Тоби, так прочно запал мне в душу, что и до сих пор не изгладился из памяти. Нисколько не желая умалять значение всего, что дали мне в этом смысле *litterae humaniores*^[105], которыми я занимался в университете, или отрицать пользу, принесенную мне дорого стоившим воспитанием как дома, так и в чужих краях, – я все же часто думаю, что половиной моего человеколюбия обязан я этому случайному впечатлению.

Рассказанный случай может заменить родителям и воспитателям целые томы, написанные на эту тему.

Я не мог положить этот мазок на портрет дяди Тоби той же кистью, какой написал остальные его части, – те части передавали в нем лишь то, что относилось к его *коньку*, – между тем как в настоящем случае речь идет о черте его нравственного характера. В отношении терпеливого перенесения обид отец мой, как, должно быть, давно уже заметил читатель, был вовсе не похож на брата; он отличался гораздо более острой и живой чувствительностью, может быть даже несколько раздражительной: правда, она его никогда не доводила до состояния, сколько-

нибудь похожего на злобу, — — однако, в случае маленьких трений и неприятностей, которыми так богата жизнь, склонна была проявляться в форме забавного и остроумного брюзжания. — Тем не менее человек он был открытый и благородный, — — во всякое время готовый внять голосу убеждения; причем во время этих маленьких припадков раздражения против других, в особенности же против дяди Тоби, которого отец искренне любил, — сам он обыкновенно мучился в десять раз больше, нежели причинял мучений своим жертвам (исключение составляла только история с тетей Диной да случаи, когда бывала затронута какая-нибудь его гипотеза).

Характеры двух братьев, при таком их противопоставлении, взаимно освещали друг друга, в особенности же выгодно в настоящем столкновении по поводу Стевина.

Мне нет нужды говорить читателю, если он обзавелся каким-нибудь коньком, — что конек есть самая чувствительная область и что эти незаслуженные удары по коньку дяди Тоби не могли остаться им незамеченными. — Нет, — как выше было сказано, дядя Тоби их чувствовал, и чувствовал очень остро.

Что же он сказал, сэр? — Как поступил? — О, сэр, — он проявил истинное величие! Как только отец перестал оскорблять его конька, — он без малейшего волнения отвернулся от доктора Слопа, к которому обращена была его речь, и посмотрел отцу в глаза с выражением такой доброты на лице, — так кротко, так по-братски, — с такой неизъяснимой нежностью, — что взгляд его проник отцу в самое сердце. Поспешно поднявшись с кресла, он схватил дядю Тоби за обе руки и сказал: — — Братец Тоби, — виноват пред тобой; — извини, пожалуйста, эту горячность, она досталась мне от матери^[106]. — Милый мой, милый брат, — отвечал дядя Тоби, тоже вставая при поддержке отца, — ни слова больше об этом; — прощаю вам от всего сердца, даже если бы вы сказали в десять раз больше, брат. — Однако же неблагородно, — возразил отец, — оскорблять человека, — особенно брата; — но оскорблять такого смиренного брата, — такого безобидного, — такого незлобивого, — это низость, клянусь небом, это подлость. — Прощаю вам от всего сердца, брат, — сказал дядя Тоби, — даже если бы вы сказали в пятьдесят раз больше. — — Да и какое мне дело, дорогой мой Тоби, — воскликнул отец, — какое мне дело до ваших развлечений или до ваших удовольствий? Добро б еще, я был в состоянии (а я не в состоянии) умножить их число.

— Брат Шенди, — отвечал дядя Тоби, пристально посмотрев ему в глаза, — вы очень ошибаетесь на этот счет; — ведь вы доставляете мне огромное удовольствие, производя в вашем возрасте детей для семейства Шенди. — — Но этим, сэр, — заметил доктор Слор, — мистер Шенди доставляет удовольствие также и себе самому. — — — Ни капельки, — сказал отец.

Глава XIII

– Мой брат делает это, – сказал дядя Тоби, – из принципа. – Как хороший семьянин, я полагаю, – сказал доктор Слуп. – Ф! – воскликнул отец, – не стоит об этом говорить.

Глава XIV

В конце последней главы отец и дядя Тоби продолжали стоять, как Брут и Кассий в заключительной части той сцены, где они сводят между собою счеты.

Произнеся три последние слова, – отец сел; – дядя Тоби рабски последовал его примеру, но только перед тем, как опуститься на стул, он позвонил и велел капралу Триму, дожидавшемуся приказаний в прихожей, сходить домой за Стевином: дом дяди Тоби был совсем близко, по другую сторону улицы.

Другой бы прекратил разговор о Стевине; – но дядя Тоби не таил злобы в сердце своем, и потому продолжал говорить на ту же тему, желая показать отцу, что он не сердится.

– Ваше внезапное появление, доктор Слоп, – сказал дядя, возвращаясь к прерванному разговору, – тотчас же привело мне на мысль Стевина. (Отец мой, можете быть уверены, не предлагал больше держать пари о том, кто такой этот Стевин.) – Дело в том, – продолжал дядя Тоби, – что знаменитая парусная повозка, принадлежавшая принцу Морицу^[107] и построенная с таким замечательным искусством, что полдюжины пассажиров могли в ней сделать тридцать немецких миль в какое-то совсем ничтожное число минут, – была изобретена великим математиком и инженером Стевином.

– Вы могли бы, – сказал доктор Слоп, – поберечь вашего слугу (ведь он, бедняга, у вас хромым) и не посылать за Стевиновым описанием этой повозки, потому что на обратном пути из Лейдена через Гаагу я сделал добрых две мили крюку, своротив в Шевенинг с целью ее осмотреть.

– Это пустяки, – возразил дядя Тоби, – по сравнению с тем, что сделал ученый Пейреския, который прошел пешком пятьсот миль, считая от Парижа до Шевенинга и обратно, только для того, чтобы ее увидеть, – больше ни для чего.

Некоторые люди терпеть не могут, чтобы их обгоняли.

– Ну и дурак он, – возразил доктор Слоп. Однако обратите внимание, что сказал он это вовсе не из презрения к Пейрескии, – а потому, что неутомимое мужество этого ученого, сделавшего пешком такой далекий путь единственно из любви к знанию, сводило к нулю подвиг самого доктора Сдана в этом деле. – Ну и дурак этот Пейреския, – повторил он. – Отчего же? – возразил отец, беря сторону брата, не только с целью поскорее загладить нанесенное ему оскорбление, которое все не выходило у отца из головы, – но отчасти и потому, что разговор начинал его серьезно интересовать. – Отчего же? – сказал он, – отчего надо бранить Пейрескию^[108] или кого-нибудь другого за желание полакомиться тем или другим кусочком подлинного знания? Сам я хоть и ничего не понимаю в этой парусной повозке, – продолжал он, – однако у ее изобретателя, наверно, были большие способности к механике; понятно, я не в силах разобраться, какими философскими принципами он руководился, – – – все-таки его машина построена на принципах очень основательных, каковы бы они ни были, иначе она не могла бы обладать теми качествами, о которых говорил мой брат.

– Она ими обладала, если только не была еще более совершенной, – сказал дядя Тоби; – ведь, как изящно выражается Пейреския, говоря о скорости ее движения: *Tarn citus erat, quam erat ventus*, что означает, если я не позабыл моей латыни: она была быстрая, как ветер.

– А позвольте узнать, доктор Слоп, – проговорил отец, перебив дядю (и извинившись перед ним за свою неучтивость), – на каких принципах основано было движение этой повозки? – – На очень хитрых принципах, можете быть уверены, – отвечал доктор Слоп; – – и я часто дивился, – продолжал он, обходя вопрос, – почему никто из наших помещиков, живущих на обширных равнинах, вроде нашей (я особенно имею в виду тех, чьи жены еще способны рожать детей), – не попробует какого-нибудь средства передвижения в этом роде; ведь не только оно пришлось бы чрезвычайно кстати в экстренных случаях, которым подвер-

жен прекрасный пол, – лишь бы ветер был попутный, – но сколько также средств сберегло бы применение ветра, который ничего не стоит и которого не надо кормить, вместо лошадей, которые (черт бы их драл) и стоят и жрут ужас сколько.

– Как раз по этой причине, – возразил отец, – то есть потому, что «ветер ничего не стоит и его не надо кормить», – предложение ваше никуда не годится; – ведь именно потребление наших продуктов наряду с их производством дает хлеб голодным, оживляет торговлю, – приносит деньги и поднимает цену наших земель; – признаться, будучи принцем, я щедро награждал бы ученую голову, выдумавшую такие механизмы, – тем не менее я бы строго запретил их употреблять.

Тут отец попал в свою стихию – – и пустился было так же пространно рассуждать о торговле, как дядя Тоби рассуждал перед этим о фортификации; – но, к большому ущербу для науки, судьба распорядилась, чтобы ни одно ученое рассуждение, к которому приступал в тот день мой отец, не было им доведено до конца, – – – ибо, едва только открыл он рот, чтобы начать следующую фразу, —

Глава XV

как вбежал капрал Трим со Стевином. – Но он опоздал: – предмет был полностью исчерпан в его отсутствие, и разговор пошел по другому пути.

– Можешь отнести книгу домой, Трим, – сказал дядя Тоби, кивнув ему.

– Постой, капрал, – сказал отец, желая пошутить, – раскрой-ка ее сначала и посмотри, не найдешь ли ты в ней чего-нибудь о парусной повозке.

Капрал Трим в бытность на военной службе научился повиноваться, не рассуждая; – положив книгу на столик у стены, он начал ее перелистывать. – Не во гнев будь сказано вашей милости, – проговорил Трим, – не могу найти ничего похожего на такую повозку; – все-таки, – продолжал капрал, в свою очередь желая немного пошутить, – я хочу в этом убедиться, с позволения вашей милости. – С этими словами, взяв книгу обеими руками за половинки переплета и отогнув их назад, так что листы свесились вниз, он хорошенько ее встряхнул.

– Э, да никак что-то выпало, с позволения вашей милости, – сказал Трим, – только не повозка и не похоже на повозку. – Так что же тогда, капрал? – с улыбкой спросил отец. – Я думаю, – отвечал Трим, нагнувшись, чтобы подобрать упавшее, – вещь эта больше похожа на проповедь, – так как начинается она с текста из Писания, с указанием главы и стиха, – и едет дальше, не как повозка, – а как настоящая проповедь.

Все улыбнулись.

– Понять не могу, – проговорил дядя Тоби, – каким образом какая-то проповедь могла попасть в моего Стевина.

– Я думаю, это проповедь, – стоял на своем Трим; – – почерк четкий, так, с позволения ваших милостей, я вам прочитаю одну страницу; – ибо, надо вам сказать, Трим любил слушать свое чтение почти так же, как и свою речь.

– Я всегда чувствовал сильное влечение, – сказал отец, – разбираться в вещах, пересекающих мне дорогу в силу вот такого странного стечения обстоятельств; – а так как делать нам больше нечего, по крайней мере до возвращения Обадии, то я был бы вам очень обязан, братец, если бы вы, – доктор Слуп, надеюсь, возражать против этого не будет, – велели капралу прочитать нам одну или две страницы из найденной проповеди, – если у него есть столько же умения, сколько он выказывает охоты. – Смею доложить вашей милости, – сказал Трим, – я целые две кампании во Фландрии исполнял обязанности причетника при полковом священнике. – Он прочитает не хуже меня, – сказал дядя Тоби. – Трим, уверяю вас, был лучшим грамотеем у меня в роте и в первую же очередь получил бы алебарду^[109], не стрясись с беднягой несчастье. – Капрал Трим приложил руку к сердцу и низко поклонился своему господину; – затем, опустив свою шляпу на пол и взяв проповедь в левую руку, чтобы правая оставалась свободной, – он выступил, ничтоже сумняшеся, на середину комнаты, где мог лучше видеть своих слушателей и они его также.

Глава XVI

– – Если у вас есть какие-нибудь возражения... – сказал отец, обращаясь к доктору Слопу. – Решительно никаких, – отвечал доктор Слуп; – ведь мы не знаем, на чьей стороне автор этой проповеди; – – ее мог сочинить богослов нашей церкви с такой же вероятностью, как и ваши богословы, – так что мы подвергаемся одинаковому риску. – – Она не на нашей и не на вашей стороне, – сказал Трим, – потому что речь в ней идет только о совести, смею доложить вашим милостям.

Довод Трима развеселил слушателей, – только доктор Слуп, повернувшись лицом к Триму, посмотрел на него немного сердито.

– Начинай, Трим, – и читай внятно, – сказал отец. – Сию минуту, с позволения вашей милости, – отвечал капрал, отвешивая поклон своим слушателям и привлекая их внимание легким движением правой руки.

Глава XVII

– Но прежде чем капрал начнет, я должен вам описать его позу, – иначе ваше воображение легко может представить вам его в принужденном положении, – подобранным, – вытянувшимся в струнку, – распределившим тяжесть своего тела на обеих ногах равномерно; – вперившим глаза в одну точку, как на карауле; – с видом решительным, зажав проповедь в левой руке, точно ружье. – Словом, вы были бы склонны нарисовать Трима так, как будто он стоял в своем взводе, готовый идти в атаку. – В действительности поза его не имела ничего общего с только что вами представленной.

Он стоял перед своими слушателями, согнув туловище и наклонив его вперед ровно настолько, чтобы оно образовало угол в восемьдесят пять с половиной градусов на плоскости горизонта; – все хорошие ораторы, к которым я сейчас обращаюсь, прекрасно знают, что это и есть самый убедительный угол падения; – вы можете говорить и проповедовать под любым другим углом; – никто в этом не сомневается; – да так оно и бывает ежедневно; – но с каким результатом, – предоставляю судить об этом каждому!

Необходимость именно этого угла в восемьдесят пять с половиной градусов, вымеренного с математической точностью, – разве не показывает нам, замечу мимоходом, – какую братскую помощь оказывают друг другу науки и искусства?

Каким чудом капрал Трим, не умевший даже отличить острого угла от тупого, попал прямо в точку; – был ли то случай или природная способность, верное чутье или подражание, или что-нибудь иное, – все это будет разъяснено в той части настоящей энциклопедии наук и искусств, где подвергаются обсуждению вспомогательные средства красноречия в сенате, на церковной кафедре, в суде, в кофейной, в спальне и у камина.

Он стоял, – я это повторяю для цельности картины, – согнув туловище и немного наклонив его вперед; – правая его нога покоилась прямо под ним, неся на себе семь восьмых всего его веса; – ступня же его левой ноги, изъян которой не причинял никакого ущерба его позе, была немного выдвинута, – не вбок и не вперед, а наискосок; – колено было согнуто, – но не круто, – а так, чтобы поместиться в пределах линии красоты – и, прибавлю, линии научной также: – ибо обратите внимание, что нога должна была поддерживать восьмую часть его туловища; – таким образом, положение ноги было в этом случае строго определенное, – потому что ни ступня не могла быть выдвинута дальше, ни колено согнуто больше, нежели это допустимо по законам механики для того, чтобы поддерживать восьмую часть его веса, – а также нести ее.

Сказанное рекомендую вниманию художников и, – надо ли добавлять? – ораторов. Думаю, что не надо; ведь если они не будут соблюдать этих правил, – то непременно бухнутся носами в землю.

Вот все, что я хотел сказать о туловище и ногах капрала Трима. – Он свободно, – но не небрежно, – держал проповедь в левой руке, чуть-чуть повыше живота и немного отставив ее от груди; – правая его рука непринужденно висела на боку, как то предписывали природа и законы тяжести, – ладонь ее, однако, была открыта и повернута к слушателям, готовая, в случае надобности, прийти на помощь чувству.

Глаза и лицевые мускулы капрала Трима находились в полной гармонии с прочими частями его тела; – взгляд его был открытый, непринужденный, – достаточно уверенный, – но отнюдь не заносчивый.

Пусть критики не спрашивают, каким образом капрал Трим мог дойти до таких тонкостей; ведь я уже сказал им, что все это получит объяснение. – Во всяком случае, так стоял он перед моим отцом, дядей Тоби и доктором Слопом, – так наклонив туловище, так расставив ноги и настолько придав себе вид оратора, – что мог бы послужить отличной моделью для скульптора; – больше того, я сомневаюсь, чтобы самый ученый кандидат богословия – и

даже профессор еврейского языка – способны были внести тут сколько-нибудь существенные поправки.

Трим поклонился и прочитал следующее:

Проповедь^[110]

Послание к евреям, XIII, 18

– – – Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. – – – «Уверены! – Уверены, что имеем добрую совесть!»

– Честное слово, Трим, – сказал отец, прерывая капрала, – ты придаешь этой фразе крайне неподходящее выражение; ты морщишь нос, любезный, и произносишь ее таким насмешливым тоном, как если бы проповедник намеревался издеваться над апостолом.

– Он и намеревается, с позволения вашей милости, – отвечал Трим. – Фу! – воскликнул, улыбнувшись, отец,

– Сэр, – сказал доктор Слоп, – Трим несомненно прав; ибо автор проповеди (который, я вижу, протестант) своей колкой манерой разрывать текст апостола ясно показывает, что он намерен издеваться над ним, – если только сама эта манера не есть уже издевательство. – Но из чего же, – удивился отец, – вы так быстро заключили, доктор Слоп, что автор проповеди принадлежит к нашей церкви? – насколько я могу судить на основании сказанного, – он может принадлежать к любой церкви. – – Из того, – отвечал доктор Слоп, – что если бы он принадлежал к нашей, – – он бы не посмел позволить себе такую вольность, – как не посмел бы схватить медведя за бороду. – – Если бы в нашей церкви, сэр, кто-нибудь вздумал оскорбить апостола, – – святого, – – или хотя бы только отрезанный ноготь святого, – ему бы глаза выцарапали. – – Неужто сам святой? – спросил дядя Тоби. – Нет, – отвечал доктор Слоп, – его бы поместили в один старый дом. – А скажите, пожалуйста, – спросил дядя Тоби, – инквизиция – это старая постройка или же в нынешнем вкусе? – В архитектуре я ничего не понимаю, – отвечал доктор Слоп. – С позволения ваших милостей, – сказал Трим, – инквизиция – это мерзейшая... – – Пожалуйста, избавь нас от ее описания, Трим, мне противно само имя ее, – сказал отец. – Это ничего не значит, – отвечал доктор Слоп, – у нее есть свои достоинства; я хоть не большой ее защитник, а все-таки в случае, о котором мы говорим, провинившийся скоро научился бы лучше вести себя; и я ему могу сказать, что если он не уймется, так будет предан инквизиции за свои художества. – Помогите ему боже! – сказал дядя Тоби. – – Аминь, – прибавил Трим; – ибо господь знает, что у меня есть бедняга брат, который четырнадцать лет томится в ее тюрьмах. – – Первый раз слышу, – живо проговорил дядя Тоби. – Как он туда попал, Трим? – – Ах, сэр, у вас сердце кровью обольется, когда вы услышите эту печальную повесть, – как оно уже тысячу раз обливалось у меня; – но повесть эта слишком длинна для того, чтобы рассказывать ее сейчас; – ваша милость услышит ее как-нибудь от начала до конца, когда я буду работать возле вас над нашими укреплениями; – – в коротких словах: – – брат мой Том отправился в должности служителя в Лиссабон – и там женился на одной вдове еврея, державшей лавочку и торговавшей колбасой, что и было, не знаю уж как, причиной того, что его подняли среди ночи с постели, где он спал с женой и двумя маленькими детьми, и потащили прямо в инквизицию, где, помогите ему боже, – продолжал Трим со вздохом, – вырвавшимся из глубины его сердца, – бедный, ни в чем не повинный парень томится по сей день; – честнее его, – прибавил Трим (доставая носовой платок), – человека на свете не было.

– – – Слезы так обильно полились по щекам Трима, что он не успевал их утирать. – Несколько минут в комнате стояла мертвая тишина. – Верное доказательство сострадания!

– Полно, Трим, – проговорил отец, когда увидел, что у бедного парня немного отлегло от сердца, – читай дальше, – и выкинь из головы эту печальную историю; – не обижайся, что я тебя перебил; – только начни, пожалуйста, проповедь сначала: – если ее первая фраза, как ты говоришь, содержит издевательство, то мне бы очень хотелось знать, какой для этого повод подал апостол.

Капрал Трим утер лицо, положил платок в карман и, поклонившись, – начал снова.

Проповедь

Послание к евреям, XIII, 18

– – – Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. – – «Уверены! уверены, что имеем добрую совесть! Разумеется, если в нашей жизни есть что-нибудь, на что мы можем положиться и познания чего способны достигнуть на основе самых бесспорных показаний, так именно то, – имеем ли мы добрую совесть или нет».

– Положительно, я прав, – сказал доктор Слуп.

«Если мы вообще мыслим, у нас не может быть никаких сомнений на этот счет; мы не можем не сознавать наших мыслей и наших желаний; – – мы не можем не помнить прошлых наших поступков и не обладать достоверным знанием истинных пружин и мотивов, управлявших обычно нашими поступками».

– Ну, уж это пусть он оставит, я его разобью без чьей-либо помощи, – сказал доктор Слуп.

«В других вещах мы можем быть обмануты ложной видимостью; ибо, как жалуется мудрец, *с трудом строим мы правильные предположения о том, что существует на земле, и с усилием находим то, что лежит перед нами*. Но здесь ум в себе самом содержит все факты и все данные, могущие служить доказательством; – сознает ткань, которую он соткал; – ему известны ее плотность и чистота, а также точная доля участия каждой страсти в вышивании различных узоров, нарисованных перед ним добродетелью или пороком».

– Язык хороший, и Трим, по-моему, читает превосходно, – сказал отец.

«А так как совесть есть не что иное, как присущее уму знание всего этого в соединении с одобрительным или порицающим суждением, которое он неизбежно выносит обо всех последовательно совершавшихся нами поступках, – то ясно, скажете вы, из самых наших предпосылок ясно, что всякий раз, когда это внутреннее свидетельство показывает против нас и мы выступаем самообвинителями, – мы непременно должны быть виноваты. – И, наоборот, когда показания эти для нас благоприятны и сердце наше не осуждает нас, – то мы не просто уверены, как утверждает апостол, – а знаем достоверно, как непререкаемый факт, что совесть у нас добрая и сердце, следовательно, тоже доброе».

– В таком случае, апостол совершенно неправ, я так думаю, – сказал доктор Слуп, – а прав протестантский богослов. – Имейте терпение, сэр, – отвечал ему отец, – ибо, я думаю, вскоре окажется, что апостол Павел и протестантский богослов держатся одного и того же мнения. – Они так же далеки друг от друга, как восток и запад, – сказал доктор Слуп; – всему виною тут, – продолжал он, вздев руки, – свобода печати.

– В худшем случае, – возразил дядя Тоби, – всего только свобода проповеди; ведь эта проповедь, по-видимому, не напечатана, да вряд ли когда и будет напечатана.

– Продолжай, Трим, – сказал отец.

«С первого взгляда может показаться, что таково и есть истинное положение дела; и я не сомневаюсь, что познание добра и зла так крепко запечатлено в нашем уме, – что если бы совести нашей никогда не случилось незаметно грубеть от долгой привычки к греху (как о том свидетельствует Писание) – и, подобно некоторым нежным частям нашего тела, постепенно утрачивать от крайнего напряжения и постоянной тяжелой работы ту тонкую чувствительность и восприимчивость, которой ее наделили бог и природа; – если бы этого никогда не случилось; – или если бы верно было то, что себялюбие никогда не оказывает ни малейшего влияния на наши суждения; – или что мелкие низменные интересы никогда не всплывают наверх, не сбивают с толку наши высшие способности и не окутывают их туманом и густым мраком; – – если бы таким чувствам, как благосклонность и расположение, закрыт был доступ в этот священный трибунал; – если бы остроумие гнушалось там взятками – или стыдилось выступать защитником непозволительных наслаждений; если бы, наконец, мы были уверены, что во время разбора дела корысть всегда стоит в стороне – и страсть никогда не садится на судейское кресло и не выносит приговора вместо разума, которому всегда подобает быть руководителем и вершителем дела; – – если бы все это было действительно так, как мы должны предположить в своем возражении, – то религиозные и нравственные качества наши были бы, без сомнения, в точности такими, как мы сами их себе представляем; – и для оценки виновности или невинности каждого из нас не было бы, в общем, лучшего мерила, нежели степень нашего самоодобрения или самоосуждения.

«Я согласен, что в одном случае, а именно, когда совесть нас обличает (ибо в этом отношении она заблуждается редко), мы действительно виновны, и, если только тут не замешаны ипохондрия и меланхолия, мы можем с уверенностью сказать, что в таких случаях обвинение всегда достаточно обосновано.

«Но предложение обратное не будет истинным, – – именно: каждый раз, как совершена вина, совесть непременно выступает обличителем; если же она молчит, значит, мы невинны. – Это неверно. – Вот почему излюбленное утешение, к которому ежечасно прибегают иные добрые христиане, – говоря, что они, слава богу, чужды опасений, что, следовательно, совесть у них чиста, так как она спокойна, – в высшей степени обманчиво; – и хотя умозаключение это в большом ходу, хотя правило это кажется с первого взгляда непогрешимым, все-таки, когда вы присмотритесь к нему ближе и проверите его истину обыденными фактами, – вы увидите, к каким серьезным ошибкам приводит неосновательное его применение; – как часто извращается принцип, на котором оно покоится, – как бесследно утрачивается, порой даже истребляется все его значение, да вдобавок еще таким недостойным образом, что в подтверждение этой мысли больно приводить примеры из окружающей жизни.

«Возьмем человека порочного, насквозь развращенного в своих убеждениях; – ведущего себя в обществе самым предосудительным образом; человека, забывшего стыд и открыто предающегося греху, для которого нет никаких разумных оправданий; – греху, посредством которого, наперекор всем естественным побуждениям, он навсегда губит обманутую сообщницу своего преступления; – похищает лучшую часть ее приданого, и не только ей лично наносит бесчестье, но вместе с ней повергает в горе и срамит всю ее добродетельную семью. – Разумеется, вы подумаете, что совесть отравит жизнь такому человеку, – что ее упреки не дадут ему покоя ни днем, ни ночью.

«Увы! Совесть имела все это время довольно других хлопот, ей некогда было нарушать его покой (как упрекал Илия бога Ваала) – – этот домашний бог, может быть, задумался, иди занят был чем-либо, или находился в дороге, а может быть, спал и не мог проснуться.

«Может быть, она выходила в обществе Чести драться на дуэли, – заплатить какой-нибудь карточный долг; – – или внести наложнице грязные деньги, обещанные Похотью. А может быть, все это время Совесть его занята была дома, распинаясь против мелких краж и грома жалкие преступления, поскольку своим богатством и общественным положением сам он застрахован

от всякого соблазна покуситься на них; вот почему живет он так же весело (Ну, принадлежи он к нашей церкви, – сказал доктор Слоп, – он не стал бы особенно веселиться), – спит у себя в постели так же крепко, – и в заключение встречает смерть так же безмятежно, – как дай бог человеку самому добродетельному».

– Все это у нас невозможно, – сказал доктор Слоп, обращившись к моему отцу; – такие вещи не могли бы случиться в нашей церкви. – – Ну, а в нашей, – отвечал отец, – случаются сплошь и рядом. – Положим, – сказал доктор Слоп (немного пристыженный откровенным признанием отца), – человек может жить так же дурно и в римской церкви; – зато он не может так спокойно умереть. – Ну, что за важность, – возразил отец с равнодушным видом, – как умирает мерзавец. – Я имею в виду, – отвечал доктор Слоп, – что ему будет отказано в благодетельной помощи последних таинств. – Скажите, пожалуйста, сколько их всех у вас, – задал вопрос дядя Тоби, – вечно я забываю. – Семь, – отвечал доктор Слоп. – Гм! – произнес дядя Тоби, – но не соглашающимся тоном, – а придав своему междометию то особенное выражение удивления, какое бывает нам свойственно, когда, заглянув в ящик комода, мы находим там больше вещей, чем ожидали. – Гм! – произнес в ответ дядя Тоби. Доктор Слоп, слух у которого был тонкий, понял моего дядю так же хорошо, как если бы тот написал целую книгу против семи таинств. – – – Гм! – произнес, в свою очередь, доктор Слоп (применяя довод дяди Тоби против него же), – – что ж тут особенного, сэръ? Есть ведь семь основных добродетелей? – – Семь смертных грехов? – – Семь золотых подсвечников? – – Семь небес? – – – Этого я не знаю, – возразил дядя Тоби. – – Есть семь чудес света? – Семь дней творения? – Семь планет? – Семь казней? – Да, есть, – сказал отец с напускной серьезностью. – Но, пожалуйста, Трим, – продолжал он, – читай дальше твои характеристики.

«А вот вам корыстный, безжалостный» (тут Трим взмахнул правой рукой), «бессердечный себялюбец, не способный к дружбе, ни к товарищеским чувствам. Обратите внимание, как он проходит мимо убитых горем вдовы и сироты и смотрит на все бедствия, которым подвержена жизнь человека, без единого вздоха, без единой молитвы». – С позволения ваших милостей, – воскликнул Трим, – я думаю, что этот негодяй хуже, нежели первый.

«Ужели Совесть не проснется и не начнет его мучить в таких случаях? – Нет; слава богу, для этого нет повода. – *Я плачу каждому все, что ему полагается, – нет у меня на совести никакого прелюбодеяния, – неповинен я в нарушениях слова и в клятвопреступлениях, – я не совратил ничьей жены или дочери. – Благодарение богу, я не таков, как прочие люди, прелюбодеи, обидчики или даже как этот распутник, который стоит передо мной.*

«Третий – хитрец и интриган по природе своей. Рассмотрим всю его жизнь, – вся она лишь ловкое плетение темных козней и обманных уловок в расчете на то, чтобы низким образом обойти истинный смысл законов – и не дать нам честно владеть и спокойно наслаждаться различными видами нашей собственности. – – Вы увидите, как такой пролаза раскидывает свои сети для уловления неведения и беспомощности бедняков II нуждающихся; как он сколачивает себе состояние, пользуясь неопытностью юнца или беспечностью приятеля, готового доверить ему даже жизнь.

«Когда же приходит старость и Раскаяние призывает его оглянуться на этот черный счет и снова отчитаться перед своей Совестью, – – Совесть бегло справляется со Сводом законов, – не находит там ни одного закона, который явно нарушался бы его поступками, – убеждается, что ему не грозят никакие штрафы или конфискации движимого и недвижимого имущества, – не видит ни бича, поднятого над его головой, ни темницы, отворяющей перед ним свои ворота. – Так чего же страшиться его Совести? – Она прочно окопалась за Буквой закона и сидит себе неуязвимая, со всех сторон настолько огражденная *прецедентами и решениями*, – что никакая проповедь не в состоянии выбить ее оттуда».

Тут капрал Трим и дядя Тоби переглянулись между собой. – Да, – да, Трим! – проговорил дядя Тоби, покачав головой, – жалкие это укрепления, Трим. – – – О, совсем дрянная

работа, – отвечал Трим, – по сравнению с тем, что ваша милость и я умеем сооружать. – – – Характер этого последнего человека, – сказал доктор Сноп, перебивая Трима, – более отвратителен, нежели характеры обоих предыдущих, – – – он как будто списан с одного из ваших кляузников, которые бегают по судам. – – У нас совесть человека не могла бы так долго пребывать в ослеплении, – ведь по крайней мере три раза в году каждый из нас должен ходить к исповеди. – Разве это возвращает человеку зрение? – спросил дядя Тоби. – Продолжай, Трим, – сказал отец, – иначе Обадия вернется раньше, чем ты дойдешь до конца проповеди. – Она очень короткая, – возразил Трим. – Мне бы хотелось, чтобы она была подлиннее, – сказал дядя Тоби, – потому что она мне ужасно нравится. – Трим продолжал:

«Четвертый лишен даже такого прибежища, – он отбрасывает прочь все эти формальности медленного крючкотворства, – презирает сомнительные махинации секретных происков и осторожных ходов для осуществления своих целей. – Поглядите на этого развязного наглеца, как он плурует, врет, приносит ложные клятвы, грабит, убивает! – – Ужасно! – – Но ничего лучшего и нельзя было ожидать в настоящем случае: – бедняга жил в темноте! – Совесть этого человека взял на свое попечение его священник; – а все наставления последнего ограничивались тем, что надо верить в папу; – ходить к обедне; – креститься; – почитать молитвы, перебирая четки; – – – быть хорошим католиком, – и что этого за глаза довольно, чтобы попасть на небо. Как? – даже преступая клятвы? – Что ж, – ведь они сопровождались мысленными оговорками. – Но если это такой отъявленный негодяй, как вы его изображаете, – если он грабит, – если он убивает, – ужели при каждом из таких преступлений не наносит он раны своей Совести? – Разумеется, – но ведь он приводил ее на исповедь; – рана там нарывает, очищается и в короткое время совершенно вылечивается при помощи отпущения. – Ах, папизм! какую несешь ты ответственность! – Не довольствуясь тем, что человеческое сердце каждый день и на каждом шагу невольно роковым образом действует предательски по отношению к самому себе, – ты еще умышленно, распахнул настежь широкие ворота обмана перед этим неосмотрительным путником, – и без того, прости господи, легко сбивающимся с пути, – и уверенно обещаешь мир душе его там, где нет никакого мира.

«Примеры, взятые мной из обыденной жизни для иллюстрации сказанного, слишком общеизвестны, чтобы требовались дальнейшие доказательства. Если же кто-нибудь в них сомневается или считает невероятным, чтобы человек мог в такой степени стать жертвой самообмана, – я попрошу такого скептика минуточку поразмыслить, после чего отважусь доверить решение его собственному сердцу.

«Пусть он только примет во внимание, как различны степени его отвращения к ряду безнравственных поступков, по природе своей одинаково дурных и порочных, – и для него скоро станет ясно, что те из них, к которым его побуждали сильное влечение или привычка, бывают обыкновенно разукрашены всяческой мишурой, какую только в состоянии надеть на них снисходительная и льстивая рука; – другие же, к которым он не чувствует никакого расположения, выступают вдруг голыми и безобразными, окруженными всеми атрибутами безрассудства и бесчестия.

«Когда Давид застал Саула спящим в пещере и отрезал край от его верхней одежды, – сердцу его, читаем мы, стало больно, что он это сделал. – Но в истории с Урией, когда верный и храбрый слуга его, которого он должен бы любить и почитать, пал, чтобы освободить место его похоти, – когда совесть имела гораздо больше оснований поднять тревогу, – сердцу его не было больно. – Прошел почти год после этого преступления до того дня, как Натан был послан укорить его; и мы ниоткуда не видим, чтобы за все это время он хоть раз опечалился или сокрушался сердцем по поводу содеянного.

«Таким образом, совесть, этот первоначально толковый советчик, – – которого творец назначил на высокую должность нашего справедливого и нелицеприятного судьи, в силу несчастного стечения причин и помех часто так плохо замечает происходящее, – исправляет

свою должность так нерадиво, – порой даже так нечисто, – что доверяться ей одной невозможно; и мы считаем необходимым, совершенно необходимым, присоединить к ней другой принцип, чтобы он ей помогал и даже ею руководил в ее решениях.

«Вот почему, если вы желаете составить себе правильное суждение о том, насчет чего для вас чрезвычайно важно не ошибиться, – – – а именно, как обстоит дело с вашей подлинной ценностью, как честного человека, как полезного гражданина, как верного подданного нашего короля или как искреннего слуги вашего бога, – зовите себе на помощь религию и нравственность. – – Посмотри, – что написано в законе божием? – – Что ты читаешь там? – Обратись за советом к спокойному разуму и нерушимым положениям правды и истины; – что они говорят?»

«Пусть совесть выносит свое решение на основании этих показаний; – и тогда, если сердце твое тебя не осуждает, – этот случай и предполагает апостол, – а правило твое непогрешимо» (тут доктор Слоп заснул), – «ты можешь иметь упование на бога, – то есть иметь достаточные основания для веры в то, что суждение твое о себе есть суждение божие и представляет не что иное, как предвосхищение того праведного приговора, который будет некогда произнесен над тобой существом, которому ты должен будешь напоследок дать отчет в твоих поступках.

«Тогда действительно, как говорит автор Книги Иисуса, сына Сирахова: Блажен человек, которому не докучает множество грехов его. – Блажен человек, сердце которого не осуждает его. Богат ли он или беден, – если у него сердце доброе (сердце таким образом руководимое и вразумляемое), во всякое время на лице его будет радость, – ум его скажет ему больше, нежели семь стражей, сидящих на вершине башни». – – – Башня не имеет никакой силы, – сказал дядя Тоби, – если она не фланкирована. – «Из самых темных сомнений выведет он его увереннее, чем тысяча казуистов, и представит государству, в котором он живет, лучшее ручательство за его поведение, чем все оговорки и ограничения, которые наши законодатели вынуждены множить без конца, – вынуждены, говорю я, при нынешнем положении вещей; ведь человеческие законы не являются с самого начала делом свободного выбора, но порождены были необходимостью защиты против злонамеренных действий людей, совесть которых не носит в себе никакого закона; они ставят себе целью, путем многочисленных предупредительных мер – во всех таких случаях распушенности и уклонений с пути истины, когда правила и запреты совести не в состоянии нас удержать, – придать им силу и заставить нас им подчиняться угрозами тюрем и виселиц».

– Мне совершенно ясно, – сказал отец, – что проповедь эта предназначалась для произведения в Темпле^[111], – – или на выездной сессии суда присяжных. – – Мне нравится в ней аргументация, – – и жаль, что доктор Слоп заснул раньше, чем она доказала ему ошибочность его предположения; – – – ведь теперь ясно, что священник, как я и думал с самого начала, не наносил апостолу Павлу ни малейшего оскорбления; – – и что между ними, братец, не было ни малейшего разногласия. – – – Велика важность, если бы даже они и разошлись во мнениях, – возразил дядя Тоби; – – наилучшие друзья в мире могут иногда повздорить. – – Твоя правда, брат Тоби, – сказал отец, пожав ему руку, – мы набьем себе трубки, братец, а потом Трим может читать дальше.

– Ну, а ты что об этом думаешь? – сказал отец, обращаясь к капралу Триму, после того как достал свою табакерку.

– Я думаю, – отвечал капрал, – что семь стражей на башне, которые, верно, у них там часовые, – – это больше, с позволения вашей милости, чем было надобно; – ведь если продолжать в таком роде, то можно растрепать весь полк, чего никогда не сделает командир, любящий своих солдат, если он может без этого обойтись; ведь двое часовых, – прибавил капрал, – вполне заменяют двадцать. – Я сам раз сто разводил караулы, – продолжал Трим, выросши на целый дюйм при этих словах, – но за все время, как я имел честь служить его величеству королю Вильгельму, хотя мне приходилось сменять самые ответственные посты, ни разу не

поставил я больше двух человек. – Совершенно правильно, Трим, – сказал дядя Тоби, – – но ты не принимаешь в расчет, Трим, что башни в дни Соломона были не такие, как наши бастионы, фланкированные и защищенные другими укреплениями; – все это, Трим, изобретено было уже после смерти Соломона, а в его время не было ни горнверков, ни рavelинов перед куртиной, – ни таких рвов, как мы прокладываем, с кюветом посредине и с прикрытыми путями и обнесенными палисадом контрэскарпами по всей их длине, чтобы обезопасить себя против неожиданных нападений; таким образом, семь человек на башне были, вероятно, караульным отрядом, поставленным там не только для дозора, но и для защиты башни. – С позволения вашей милости, отряд этот все-таки не мог быть больше нежели капральским постом. – Отец про себя улыбнулся, – но не подал виду: – тема разговора между дядей Тоби и Тримом, принимая во внимание случившееся, была слишком серьезна и не допускала никаких шуток. – Вот почему, сунув в рот только что закуренную трубку, – он ограничился приказанием Триму продолжать чтение. Тот прочитал следующее:

«Иметь всегда страх божий и всегда руководиться в наших взаимных отношениях вечными мерилami добра и зла – вот две скрижали, первая из которых заключает религиозные обязанности, а вторая – нравственные; они так тесно между собой связаны, что их невозможно разделить, даже мысленно (а тем более в действительности, несмотря на многочисленные попытки, которые делались в этом направлении), не разбив их и не нанеся ущерба как одной, так и другой.

«Я сказал, что такие попытки делались много раз, – и это правда; – – в самом деле, что может быть заурачнее человека, лишенного всякого чувства религии – и настолько при этом честного, чтобы не делать вид, будто оно у него есть, который, однако, принял бы за жесточайшее оскорбление, если бы вы вздумали хоть сколько-нибудь заподозрить его нравственные качества, – или предположить в нем хоть малейшую недобросовестность или неразборчивость.

«Когда у нас есть какой-нибудь повод для подобного предположения, – то как ни неприятно относиться с недоверием к столь милой добродетели, как нравственная честность, – все-таки, если бы в настоящем случае нам пришлось добратсья до ее корней, я убежден, что мы бы нашли мало причин завидовать благородству побуждений такого человека...

«Как бы высокопарно ни ораторствовал он на эту тему, все-таки напоследок окажется, что они сводятся всего лишь к его выгодам, его гордости, его благополучию или какой-нибудь мимолетной страстишке, которая способна дать нам лишь слабую уверенность, что он останется на высоте в случае серьезных испытаний.

«Я поясню мою мысль примером.

«Мне известно, что ни банкир, с которым я имею дело, ни врач, к которому я обыкновенно обращаюсь» (Нет никакой надобности, – воскликнул, проснувшись, доктор Слуп, – обращаться в таких случаях к врачу), – «не являются людьми набожными: их насмешки над религией и презрительные отзывы о всех ее предписаниях, которые я слышу каждый день, не оставляют на этот счет никаких сомнений. Тем не менее я вручаю мое состояние первому, – и доверяю мою жизнь, еще более драгоценное мое достояние, честному искусству второго.

«Теперь позвольте мне разобрать причины моего неограниченного доверия к этим людям. – Во-первых, я считаю невероятным, чтобы кто-нибудь из них употребил мне во вред власть, которую я им препоручаю; – на мой взгляд, честность есть недурное средство для достижения практических целей в свете; – я знаю, что успех человека в жизни зависит от незапятнанности его репутации. – Словом, я убежден, что они не могут мне повредить, не причинив себе самим еще большего вреда.

«Но допустим, что дело обстоит иначе, именно, что их выгода заключалась бы в противоположном образе действий; что при известных обстоятельствах банкир мог бы, не портя своей репутации, присвоить мое состояние и пустить меня по миру, – а врач мог бы даже отправить на тот свет и после моей смерти завладеть моим имуществом, не пороча ни себя, ни своего

ремесла. – На что же в них могу я в таких случаях положиться? – Религия, самый мощный из всех двигателей, отпадает. – Личная выгода, второе по силе побуждение, действует решительно против меня. – Что же остается мне бросить на другую чашку весов, чтобы перетянуть это искушение? – Увы! У меня нет ничего, – ничего, кроме вещи, которая легче мыльного пузыря, – я должен положиться на милость чести или другого подобного ей непостоянного чувства. – Слабая порука за два драгоценнейшие мои блага: – собственность мою и мою жизнь!

«Если, следовательно, мы не можем положиться на нравственность, не подкрепленную религией, – то, с другой стороны, ничего лучшего нельзя ожидать от религии, не связанной с нравственностью. Тем не менее совсем не редкость увидеть человека, стоящего на очень низком нравственном уровне, который все-таки чрезвычайно высокого мнения о себе как о человеке религиозном.

«Он не только алчен, мстителен, неумолим, – но оставляет даже желать лучшего по части простой честности. – Однако, поскольку он громит неверие нашего времени, – ревностно исполняет некоторые религиозные обязанности, – по два раза в день ходит в церковь, – читает таинства – и развлекается некоторыми вспомогательными средствами религии, – он обманывает свою совесть, считая себя на этом основании человеком религиозным, исполняющим все свои обязанности по отношению к богу. Благодаря этому самообману такой человек в духовной своей гордости смотрит обыкновенно сверху вниз на других людей, у которых меньше показной набожности, – хотя, может быть, в десять раз больше моральной честности, нежели у него.

«*Это тоже тяжкий грех под солнцем*, и я думаю, что ни одно ошибочное убеждение не наделало в свое время больше зла. – В доказательство рассмотрите историю римской церкви». (– Что вы под этим понимаете? – вскричал доктор Слуп.) – «Припомните, сколько жестокости, убийств, грабежей, кровопролития» (– Пусть винят собственное упрямство, – вскричал доктор Слуп) – «освящено было религией, не руководимой строгими требованиями нравственности.

«В каких только странах на свете...» (При этих словах Трим начал делать правой рукой колебательные движения, то приближая ее к проповеди, то протягивая во всю длину, и остановился только по окончании фразы.)

«В каких только странах на свете не производил опустошений крестоносный меч сбитого с толку странствующего рыцаря, не щадившего ни возраста, ни заслуг, ни пола, ни общественного положения; сражаясь под знаменами религии, освобождавшей его от подчинения законам справедливости и человеколюбия, он не проявлял ни той, ни другого, безжалостно попирая их ногами, – не внемля крикам несчастных и не зная сострадания к их бедствиям».

– Я бывал во многих сражениях, с позволения вашей милости, – сказал со вздохом Трим, – но в таких ужасных, как это, мне быть не доводилось. – У меня рука не поднялась бы навести ружье на беззащитных людей, – хотя бы меня произвели в генералы. – Да что вы смыслите в таких делах? – сказал доктор Слуп, посмотрев на Трима с презрением, которого вовсе не заслуживало честное сердце капрала. – Что вы понимаете, приятель, в сражении, о котором говорите? – Я знаю то, – отвечал Трим, – что никогда в жизни не отказывал в пощаде людям, которые меня о ней просили; – а что до женщин и детей, – продолжал Трим, – то прежде чем в них прицелиться, я бы тысячу раз лишился жизни. – Вот тебе корона, Трим, можешь выпить сегодня с Обадией, – сказал дядя Тоби, – а Обадия получит от меня другую корону. – Бог да благословит вашу милость, – отвечал Трим, – а я бы предпочел отдать свою корону этим бедным женщинам и детям. – Ты у меня молодчина, Трим, – сказал дядя Тоби. – Отец кивнул головой, – как бы желая сказать – да, он молодец. – – –

– А теперь, Трим, – сказал отец, – кончай, – я вижу, что у тебя остался всего лист или два.

Капрал Трим продолжал:

«Если свидетельства прошедших веков недостаточно, – посмотрите, как приверженцы этой религии в настоящее время думают служить и угождать богу, совершая каждый день дела, покрывающие их бесчестием и позором.

«Чтобы в этом убедиться, войдите на минуту со мной в тюрьмы инквизиции». (Да поможет бог моему бедному брату Тому.) – «Взгляните на эту *Религию*, с закованными в цепи у ног ее *Милосердием* и *Справедливостью*, – страшная, как привидение, восседает она в черном судейском кресле, подпертом дыбами и орудиями пытки. – Слушайте! – Слышите этот жалобный стон?» (Тут лицо Трима сделалось пепельно-серым.) – «Взгляните на бедного страдальца, который его издает», – (тут слезы покатались у него) – «его только что привели, чтобы подвергнуть мучке этого лжесудилица и самым утонченным пыткам, какие в состоянии была изобрести обдуманная система жестокости». – (Будь они все прокляты! – воскликнул Трим, лицо которого теперь побагровело.) – «Взгляните на эту беззащитную жертву, выданную палачам, – тело ее так измучено скорбью и заточением...» (– Ах, это брат мой! – воскликнул бедный Трим в крайнем возбуждении, уронив на пол проповедь и всплеснув руками, – боюсь, что это бедняга Том. – Отец и дядя Тоби исполнились сочувствием к горю бедного парня, – даже Слоп выказал к нему жалость. – Полно, Трим, – сказал отец, – ты читаешь совсем не историю, а только проповедь; – пожалуйста, начни – фразу снова.) – «Взгляните на эту беззащитную жертву, выданную палачам, – тело ее так измучено скорбью и заточением, что каждый нерв и каждый мускул внятно говорит, как он страдает.

«Наблюдайте последнее движение этой страшной машины!» – (– Я бы скорее заглянул в жерло пушки, – сказал Трим, топнув ногой.) – – – «Смотрите, в какие судороги она его бросила! – Разглядите положение, в котором он теперь простерт, – каким утонченным пыткам он подвергается!» – (– Надеюсь, что это не в Португалии.) – «Больших мук природа не в состоянии вынести! – Боже милосердный! Смотрите, как измученная душа его едва держится на трепещущих устах!» – (– Ни за что на свете не прочитаю дальше ни строчки, – проговорил Трим. – Боюсь, с позволения вашей милости, что все это происходит в Португалии, где теперь мой бедный брат Том. – Повторяю тебе, Трим, – сказал отец, – это не описание действительного события, – а вымысел. – Это только вымысел, почтенный, – сказал Слоп, – в нем нет ни слова правды. – Ну, нет, я не то хотел сказать, – возразил отец. – Однако чтение так волнует Трима, – жестоко было бы принуждать его читать дальше. – Дай-ка сюда проповедь, Трим, – я дочитаю ее за тебя, а ты можешь идти. – Нет, я бы желал остаться и дослушать, – отвечал Трим, – если ваша милость позволит, – но сам не соглашусь читать даже за жалованье полковника. – Бедный Трим! – сказал дядя Тоби. Отец продолжал:)

«– Разглядите положение, в котором он теперь простерт, – каким утонченным пыткам он подвергается! – Больших мук природа не в состоянии вынести! – Боже милосердный! Смотрите, как измученная душа его едва держится на трепещущих устах, – готовая отлететь, – – но не получающая на это позволения! – – Взгляните, как несчастного страдальца отводят назад в его темницу!» (– Ну, слава богу, – сказал Трим, – они его не убили.) – «Смотрите, как его снова достают оттуда, чтобы бросить в огонь и в предсмертную минуту осыпать оскорблениями, порожденными тем предрассудком, – – тем страшным предрассудком, что может существовать религия без милосердия». – (Ну, слава богу, – он умер, – сказал Трим, – теперь он уже для них недосыгаем, – худшее для него уже осталось позади. – Ах, господа! – Замолчи, Трим, – сказал отец, продолжая проповедь, чтобы помешать Триму сердить доктора Слопа, – иначе мы никогда не кончим.)

«Самый верный способ определить цену какого-нибудь спорного положения – рассмотреть, насколько согласуются с духом христианства вытекающие из него следствия. – Это простое и решающее правило, оставленное нам Спасителем нашим, стоит тысячи каких угодно доводов. – По плодам их узнаете их.

«На этом я и заканчиваю мою проповедь, прибавив только два или три коротеньких самостоятельных правила, которые из нее вытекают.

«*Во-первых*. Когда кто-нибудь распинается против религии, – всегда следует подозревать, что не разум, а страсти одержали верх над его *Верой*. – Дурная жизнь и добрая вера неужив-

чивые и сварливые соседи, и когда они разлучаются, поверьте, что это делается единственно ради спокойствия.

«Во-вторых. Когда вот такой человек говорит вам по какому-нибудь частному поводу, что такая-то вещь противна его совести, – вы можете всегда быть уверены, что это совершенно все равно как если бы он сказал, что такая-то вещь противна ему на вкус: – в обоих случаях истинной причиной его отвращения обыкновенно является отсутствие аппетита.

«Словом, – ни в чем не доверяйте человеку, который не руководится совестью в каждом деле своем.

«А вам самим я скажу: помните простую истину, непонимание которой погубило тысячи людей, – что совесть ваша не есть закон. – Нет, закон создан богом и разумом, которые вселили в вас совесть, чтобы она выносила решения, – не так, как азиатский кади, в зависимости от прилива и отлива страстей своих, – а как британский судья в нашей стране свободы и здравомыслия, который не сочиняет новых законов, а лишь честно применяет существующие».

Finis.^[112]

– Ты читал проповедь превосходно, Трим, – сказал отец. – Он бы читал гораздо лучше, – возразил доктор Слуп, – если бы воздержался от своих замечаний. – Я бы читал в десять раз лучше, сэр, – отвечал Трим, – если бы сердце мое не было так переполнено. – Как раз по этой причине, Трим, – возразил отец, – ты читал проповедь так хорошо. Если бы духовенство нашей церкви, – продолжал отец, обращаясь к доктору Слупу, – вкладывало столько чувства в произносимые им проповеди, как этот бедный парень, – то, так как проповеди эти составлены прекрасно, – (– Я это отрицаю, – сказал доктор Слуп) – я утверждаю, что наше церковное красноречие, да еще на такие волнующие темы, – сделалось бы образцом для всего мира. – Но, увы! – продолжал отец, – с огорчением должен признаться, сэр, что в этом отношении оно похоже на французских политиков, которые выигранное ими в кабинете обыкновенно теряют на поле сражения. – Жалко было бы, – сказал дядя, – если бы проповедь эта затерялась. – Мне она очень нравится, – сказал отец, – она драматична, – и в этом литературном жанре, по крайней мере в искусных его образцах, есть что-то захватывающее. – У нас часто проповедуют в этом роде, – сказал доктор Слуп. – Да, да, я знаю, – сказал отец, – но его тон и выражение лица при этом настолько же не понравились доктору Слупу, насколько приятно ему было бы простое согласие отца. – Но наши проповеди, – продолжал немного задетый доктор Слуп, – очень выгодно отличаются тем, что если уж мы вводим в них действующих лиц, то только таких, как патриархи, или жены патриархов, или мученики, или святые. – В проповеди, которую мы только что прослушали, есть несколько очень дурных характеров, – сказал отец, – но они, по-моему, нисколько ее не портят. – Однако чья бы она могла быть? – спросил дядя Тоби. – Как могла она попасть в моего Стевина? – Чтобы ответить на второй вопрос, – сказал отец, – надо быть таким же великим волшебником, как Стевин. – Первый же, – по-моему, – не так труден: – ведь если мне не слишком изменяет моя сообразительность, – я знаю автора: конечно, проповедь эта написана нашим приходским священником.

Основанием для этого предположения было сходство прочитанной проповеди по стилю и манере с проповедями, которые отец постоянно слышал в своей приходской церкви, – оно доказывало так неоспоримо, как только вообще априорный Довод способен доказать такую вещь философскому уму, – что автором ее был Йорик и никто другой. – Догадка эта получила также и апостериорное доказательство, когда на другой день Йорик прислал за ней к дяде Тоби слугу своего.

По-видимому, Йорик, интересовавшийся всеми видами знания, когда-то брал Стевина у дяди Тоби; по рассеянности он сунул в книгу свою проповедь, когда написал ее, и, по свойственной ему забывчивости, отослал Стевина по принадлежности, а заодно с ним и свою проповедь.

– Злосчастная проповедь! После того как тебя нашли, ты была вторично потеряна, проскользнув через незамеченную прореху в кармане твоего сочинителя за изодранную предательскую подкладку, – ты глубоко была втоптана в грязь левой задней ногой его Росинанта, бесчеловечно наступившего на тебя, когда ты упала; – пролежав таким образом десять дней, – ты была подобрана нищим, продана за полпенни одному деревенскому причетнику, – уступлена им своему приходскому священнику, – навсегда потеряна для ее сочинителя – и возвращена беспокойным его манам^[113] только в эту минуту, когда я рассказываю миру ее историю.

Поверит ли читатель, что эта проповедь Йорика произнесена была во время сессии суда присяжных в Йоркском соборе перед тысячей свидетелей, готовых клятвенно это подтвердить, одним пребендарием названного собора, который не постеснялся потом ее напечатать, – – и это произошло всего лишь через два года и три месяца после смерти Йорика! – Правда, с ним и при жизни никогда лучше не обращались! – – а все-таки было немного бесцеремонно этак его ограбить, когда он уже лежал в могиле.

Тем не менее, уверяю вас, я бы не стал предавать анекдот этот гласности, – ибо поступивший таким образом джентльмен был в наилучших отношениях с Йориком – и, руководясь духом справедливости, напечатал лишь небольшое количество экземпляров, назначенных для бесплатной раздачи, – а кроме того, мне говорили, мог бы и сам сочинить проповедь не хуже, если бы счел это нужным; – – и рассказываю я об этом вовсе не с целью повредить репутации упомянутого джентльмена или его церковной карьере; – предоставляю это другим; – нет, мной движут два соображения, которым я не в силах противиться.

Первое заключается в том, что, исправляя несправедливость, я, может быть, принесу покой тени Йорика, – которая, как думают деревенские – и другие – люди, – – до сих пор блуждает по земле.

Второе мое соображение то, что огласка этой истории служит мне удобным поводом сообщить: ежели бы характер священника Йорика и этот образец его проповедей пришлось кому-нибудь по вкусу, – что в распоряжении семейства Шенди есть и другие его проповеди, которые могли бы составить порядочный том к услугам публики – – и принести ей великую пользу.

Глава XVIII

Обадия бесспорно заслужил две обещанные ему кроны; ибо в ту самую минуту, когда капрал Трим выходил из комнаты, явился он, гремя инструментами, заключенными в упомянутом уже зеленом байковом мешке, который висел у него через плечо.

– Теперь, когда мы в состоянии оказать некоторые услуги миссис Шенди, – сказал (просияв) доктор Слоп, – было бы не худо, я думаю, узнать о ее здоровье.

– Я приказал старой повитухе, – отвечал отец, – сойти к нам при малейшем затруднении; – – ибо надо вам сказать, доктор Слоп, – продолжал отец со смущенной улыбкой, – что в силу особого договора, торжественно заключенного между мной и моей женой, вам принадлежит в этом деле только подсобная роль, да и то лишь в том случае, если эта сухопарая старуха не управится без вашей помощи. – – У женщин бывают странные причуды, и в случаях такого рода, – продолжал отец, – когда они несут всю тяжесть и терпят жестокие мучения для блага наших семей и всего человеческого рода, – они требуют себе права решать *en souveraines*^[114], в чьих руках и каким образом они предпочитали бы их вынести.

– Они совершенно правы, – сказал дядя Тоби. – Однако, сэр, – заявил доктор Слоп, не придавая никакого значения мнению дяди Тоби и обращаясь к отцу, – лучше бы они распоряжались другими вещами; и отцу семейства, желающему продолжения своего рода, лучше, по-моему, поменяться с ними прерогативами и уступить им другие права вместо этого. – Не знаю, – отвечал отец с некоторой резкостью, показывавшей, что он недостаточно взвешивает свои слова, – не знаю, – сказал он, – какими еще правами могли бы мы поступиться за право выбора того, кто будет принимать наших детей при появлении их на свет, – разве только правом производить их. – – Можно поступиться чем угодно, – заметил доктор Слоп. – – Извините, пожалуйста, – отвечал дядя Тоби. – – Вы будете поражены, сэр, – продолжал доктор Слоп, – узнав, каких усовершенствований добились мы за последние годы во всех отраслях акушерского искусства, в особенности же по части скорого и безопасного извлечения плода, – на одну эту операцию пролито теперь столько нового света, что я (тут он поднял руки) положительно удивляюсь, как это до сих пор... – Желал бы я, – сказал дядя Тоби, – чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии.

Глава XIX

Я опускаю на минуту занавес над этой сценой, – чтобы кое-что вам напомнить – и кое-что сообщить.

То, что я собираюсь сообщить вам, признаться, немного несвоевременно, – ибо должно было быть сказано на сто пятьдесят страниц раньше, но я тогда уже предвидел, что это кстати будет сказано потом, и лучше всего здесь, а не где-нибудь в другом месте. – Писатели непременно должны заглядывать вперед, иначе не будет жизни и связности в том, что они рассказывают.

Когда то и другое будет сделано, – занавес снова поднимется, и дядя Тоби, отец и доктор Слоп будут продолжать начатый разговор, не встречая больше никаких помех.

Итак, скажу сначала о том, что я хочу вам напомнить. – Своеобразие взглядов моего отца, показанное на примере выбора христианских имен и еще раньше на другом примере, – мне кажется, привело вас к заключению (я, право, уже говорил об этом), что отец мой держался таких же необычайных и эксцентричных взглядов на десятки других вещей. Действительно, не было такого события в человеческой жизни, начиная от зачатия – и кончая болтающимися штанами и шлепанцами второго детства, по поводу которого он не составил бы своего любимого мнения, столь же скептического и столь же далекого от избитых путей мысли, как и два рассмотренные выше.

– Мистер Шенди, отец мой, сэр, на все смотрел со своей точки зрения, не так, как другие; – он освещал всякую вещь по-своему; – он ничего не взвешивал на обыкновенных весах; – нет, – он был слишком утонченный исследователь, чтобы поддаваться такому грубому обману. – Если желаете получить истинный вес вещи на научном безмене, точка опоры, – говорил он, – должна быть почти невидимой, чтобы избежать всякого трения со стороны ходячих взглядов; – без этого философские мелочи, которые всегда должны что-нибудь значить, окажутся вовсе не имеющими веса. – Знание, подобно материи, – утверждал он, – делимо до бесконечности; – грани и скрупулы составляют такую же законную часть его, как тяготение целого мира. – Словом, – говорил он, – ошибка есть ошибка, – все равно, где бы она ни случилась, – в золотнике – или в фунте, – и там и здесь она одинаково пагубна для истины, и последняя столь же неизбежно удерживается на дне своего кладезя промахом в отношении пылинки на крыле мотылька, – как и в отношении диска солнца, луны и всех светил небесных, вместе взятых.

Часто плакался он, что единственно от недостатка должного внимания к этому правилу и умелого применения его как к практической жизни, так и к умозрительным истинам на свете столько непорядков, – что государственный корабль дает крен; – и что подрывты самые основы превосходной нашей конституции, церковной и гражданской, как утверждают люди сведущие.

– Вы кричите, – говорил он, – что мы погибший, конченный народ. – Почему? – спрашивал он, пользуясь соритом, или силлогизмом Зенона и Хрисиппа^[115], хотя и не зная, что он им принадлежал. – Почему? Почему мы погибший народ? – Потому что мы продажны. – В чем же причина, милостивый государь, того, что мы продажны? – В том, что мы нуждаемся; – не наша воля, а наша бедность соглашается брать взятки. – А отчего же, – продолжал он, – мы нуждаемся? – От пренебрежения, – отвечал он, – к нашим пенсам и полупенсовикам. Наши банковые билеты, сэр, наши гинеи, – даже наши шиллинги сами себя берегут.

– То же самое, – говорил он, – происходит во всем цикле наук; – великие, общепризнанные их положения не подвергаются нападкам. – Законы природы сами за себя постоят; – но ошибка – (прибавлял он, пристально смотря на мою мать) – ошибка, сэр, прокрадывается через мелкие скважины, через узенькие щели, которые человеческая природа оставляет неохраняемыми.

Так вот об этом образе мыслей моего отца я и хотел вам напомнить. – Что же касается того, о чем я хотел вам сообщить и что поберег для этого места, то вот оно: в числе многих превосходных доводов, при помощи которых отец мой убеждал мою мать предпочесть помощь доктора Слопа помощи старухи, – был один очень своеобразный; обсудив с ней вопрос как христианин и собираясь вновь обсудить его с ней как философ, он вложил в этот довод всю свою силу, рассчитывая на него как на якорь спасения. – Довод подвел его; не потому, что в нем заключался какой-нибудь недостаток; но, как отец ни бился, ему так и не удалось растолковать матери всю его важность. – Вот дурацкое положение! – сказал он себе однажды вечером, выйдя из комнаты после полуторачасовых бесплодных попыток убедить свою жену, – вот дурацкое положение! – сказал он, кусая себе губы, когда затворял дверь, – владеть искусством тончайших рассуждений, – и иметь при этом жену, которой невозможно вбить в голову простейшего силлогизма, хотя бы от этого зависело спасение души твоей.

Довод этот хотя и не возымел никакого действия на мою мать, – имел, однако, в глазах отца больше силы, чем все его другие доводы, вместе взятые. – Постараюсь поэтому отдать ему должное, – изложив его со всей отчетливостью, на какую я способен.

Отец исходил из двух следующих неоспоримых аксиом:

Во-первых, что одна унция своего ума стоит больше тонны ума чужого, и

Во-вторых (аксиома эта, заметим в скобках, была основой первой, – хотя пришла ему в голову позже), что ум каждого из нас должен брать начало в собственной душе, – а не заимствоваться у других.

А так как отцу ясно было, что все души по природе равны – и что огромное различие между наиболее острыми и наиболее тупыми умами – отнюдь не обусловлено первоначальной остротой или тупостью одной мыслящей субстанции по сравнению с другой, – а проистекает единственно от удачного или неудачного строения тела в той его части, которую душа преимущественно избрала для своего пребывания, – то он поставил задачей своих исследований отыскать это место.

На основании лучших работ, какие ему удалось достать по этому предмету, он убедился, что местом этим не может быть верхушка шишковидной железы в мозгу, как думал Декарт; ибо, рассуждал отец, она представляет подушку величиной всего с горошину; хотя, по правде сказать, догадка эта была не плохая, – поскольку в указанном месте заканчивается такое множество нервов; – так что отец, по всей вероятности, впал бы точь-в-точь в такую же ошибку, как и этот великий философ, если бы не дядя Тоби, который ее предотвратил, рассказав ему случай с одним валлонским офицером, лишившимся головного мозга, одна часть которого унесена была мушкетной пулей в сражении при Ландене, – а другая удалена французским хирургом; – и тем не менее он выздоровел и вполне исправно нес службу без мозга.

– Если смерть, – рассуждал про себя отец, – есть не что иное, как отделение души от тела; – и если правда, что люди могут ходить взад и вперед и исполнять свои обязанности без мозга, – то, конечно, седалище души находится не там. Q.E.D.^[116]

Что же касается того тонкого, нежного и чрезвычайно пахучего сока, который, как утверждает знаменитый миланский врач Кольонисимо Борри^[117] в письме к Бертолини, был им открыт в клетках затылочных частей мозжечка и который, по его же утверждению, является главным седалищем разумной души (ибо вы должны знать, что в последний просвещенные столетия в каждом живом человеке есть две души, – из которых одна, согласно великому Метеглингию, называется *animus*, а другая *anima*); – что касается, говорю, этого мнения Борри, – то отец никоим образом не мог к нему присоединиться; одна мысль о том, что столь благородное, столь утонченное, столь бесплотное и столь возвышенное существо, как *anima*, или даже *animus*, избирает для своего пребывания и день-деньской, лето и зиму, барахтается, точно головастик, в грязной луже, – или вообще в жидкости, хотя бы самой густой или самой

эфирной, – одна эта мысль, – говорил он, – оскорбляет его воображение; он и слышать не хотел о такой нелепости.

Таким образом, меньше всего возражений, казалось ему, вызывает та гипотеза, что главный сенсорий, или главная квартира души, куда поступают все сообщения и откуда исходят все ее распоряжения, – находится внутри мозжечка или поблизости от него, или, вернее, где-нибудь возле *medulla oblongata*^[118], куда, по общему мнению голландских анатомов, сходятся все тончайшие нервы от органов всех семи чувств, как улицы и извилистые переулки на площадь.

До сих пор мнение моего отца не заключало в себе ничего особенного, – он шел рука об руку с лучшими философами всех времен и всех стран. – Но тут он избирал собственный путь, воздвигая на этих краеугольных камнях, заложенных ими для него, свою, *Шендиеву гипотезу*, – такую гипотезу, которая одинаково оставалась в силе, зависела ли subtilitas и тонкость души от состава и чистоты упомянутой жидкости или же от более деликатного строения самого мозжечка; отец мой больше склонялся к этому последнему мнению.

Он утверждал, что после должного внимания, которое следует уделить акту продолжения рода человеческого, требующему величайшей сосредоточенности, поскольку в нем закладывается основание того непостижимого сочетания, в коем совмещены ум, память, фантазия, красноречие и то, что обыкновенно обозначается словами «хорошие природные задатки», – что сейчас же после этого и после выбора христианского имени, каковые две вещи являются основными и самыми действенными причинами всего; – что третьей причиной или, вернее, тем, что в логике называется *causa sine qua non*^[119] и без чего все, что было сделано, не имеет никакого значения, – является предохранение этой нежной и тонкой ткани от повреждений, обыкновенно причиняемых ей сильным сдавливанием и помятием головы новорожденного, которому она неизменно подвергается при нелепом способе выведения нас на свет названным органом вперед.

– – Это требует пояснения.

Отец мой, любивший рыться во всякого рода книгах, заглянув однажды в *Lithopaedus Senonensis de partu difficili*^[120], изданную Адрианом Смельфготом, обнаружил, что мягкость и податливость головы ребенка при родах, когда кости черепа еще не скреплены швами, таковы, – что благодаря потугам роженицы, которые в трудных случаях равняются, средним числом, давлению на горизонтальную плоскость четырехсот семидесяти коммерческих фунтов, – вышеупомянутая голова в сорока девяти случаях из пятидесяти сплющивается и принимает форму продолговатого конического куска теста, вроде тех катышков, из которых кондитеры делают пироги. – – Боже милосердный! – воскликнул отец, – какие ужасные разрушения должно это производить в бесконечно тонкой и нежной ткани мозжечка! Или если существует тот сок, о котором говорит Борри, – разве этого не достаточно, чтобы превратить прозрачайшую на свете жидкость в мутную бурду?

Но страхи его возросли еще более, когда он узнал, что сила эта, действующая прямо на верхушку головы, не только повреждает самый мозг или *sebergum*, – – но необходимо также давит и пихает его по направлению к мозжечку, то есть прямо к седалищу разума. – – Ангелы и силы небесные, обороните нас! – вскричал отец, – разве в состоянии чья-нибудь душа выдержать такую встряску? – Не мудрено, что умственная ткань так разорвана и изодрана, как мы это наблюдаем, и что столько наших лучших голов не лучше спутанных мотков шелка, – такая внутри у них мешанина, – такая неразбериха.

Но когда отец стал читать дальше и узнал, что, перевернув ребенка вверх тормашками, – вещь нетрудная для опытного акушера, – и извлеки его за ноги, – мы создадим условия, при которых уже не мозг будет давить на мозжечок, а наоборот, мозжечок на мозг, отчего вреда не последует, – Господи боже! – воскликнул он, – да никак весь свет в заговоре, чтобы вышибить дарованную нам богом крупицу разума, – в заговор вовлечены даже профессора повивального

искусства. – Не все ли равно, каким концом выйдет на свет мой сын, лишь бы потом все шло благополучно и его мозжечок избежал повреждений!

Такова уж природа гипотезы: как только человек ее придумал, она из всего извлекает для себя пищу и с самого своего зарождения обыкновенно укрепляется за счет всего, что мы видим, слышим, читаем или уразумеваем. Вещь великой важности.

Отец вынашивал вышеизложенную гипотезу всего только месяц, а уже почти не было такого проявления глупости или гениальности, которое он не мог бы без затруднения объяснить с ее помощью; – ему стало, например, понятно, почему старшие сыновья бывают обыкновенно самыми тупоголовыми в семье. – Несчастные, – говорил он, – им пришлось прокладывать путь для способностей младших братьев. – Его гипотеза разрешала загадку существования простофиль и уродливых голов, – показывая а priori, что иначе и быть не могло, – если только... не знаю уже что. Она чудесно объясняла остроту азиатского гения, а также большую бойкость ума и большую проницательность, наблюдаемые в более теплых климатах; не при помощи расплывчатых и избитых ссылок на более ясное небо, на большее количество солнечного света и т. п. – ибо все это, почем знать, могло бы своею крайностью вызвать также разжижение и расслабление душевных способностей, низвести их к нулю, – вроде того как в более холодных поясах, вследствие противоположной крайности, способности наши отяжелевают; – нет, отец восходил до первоисточника этого явления; – показывал, что в более теплых климатах природа обошлась ласковее с прекрасной половиной рода человеческого, – Щедрее наградив ее радостями, – и в большей степени избавив от страданий, в результате чего давление и противодействие верхушки черепа бывают там столь ничтожны, что мозжечок остается совершенно неповрежденным; – он даже думал, что при нормальных родах ни одна ниточка в нем не рывается и не запутывается, – значит, душа может вести себя, как ей нравится.

Когда отец дошел до этих пор, – какой яркий свет пролили на его гипотезы сведения о кесаревом сечении и о великих гениях, благополучно появившихся на свет с его помощью! – Тут вы видите, – говорил он, – совершенно неповрежденный сенсорий; – отсутствие всякого давления таза на голову; – никаких толчков мозга на мозжечок ни со стороны *os pubis*^[121], ни со стороны *os coxugis*^[122], – а теперь, спрашиваю я вас, каковы были счастливые последствия? Чего стоит, сэр, один Юлий Цезарь, давший этой операции свое имя; – или Гермес Тризмегист^[123], родившийся таким способом даже раньше, чем она была наименована; – или Сципион Африканский; – или Манлий Торкват; – или наш Эдуард Шестой^[124], который, проживи он дольше, сделал бы такую же честь моей гипотезе. – Люди эти, наряду с множеством других, занимающих высокое место в анналах славы, – все появились на свет, сэр, боковым путем.

Надрез брюшной полости или матки шесть недель не выходил из головы моего отца; – он где-то вычитал и проникся убеждением, что раны под ложечку и в матку не смертельны; – таким образом чрево матери отлично может быть вскрыто, чтобы вынуть ребенка. – Однажды он заговорил об этом с моей матерью, – просто так, вообще; – но, увидя, что она побледнела, как полотно, при одном упоминании о подобной вещи, – счел за лучшее прекратить с ней разговор, несмотря на огромные надежды, возлагавшиеся им на эту операцию; – довольно будет, – решил он, – восхищаться втихомолку тем, что бесполезно было, по его мнению, предлагать другим.

Такова была гипотеза мистера Шенди, моего отца; относительно этой гипотезы мне остается только добавить, что братец мой Бобби делал ей столько же чести (я умолчу о том, сколько чести делал он нашей семье), как и любой из только что перечисленных великих героев. – Дело в том, что он не только был крещен, как я вам говорил, но и родился в отсутствие отца, уезжавшего в Эпсом, – к тому же был первенцем у моей матери, – появился на свет головой вперед – и оказался йотом мальчиком удивительно непонятливым, – все это не могло не укрепить отца в его мнении; потерпев неудачу при подходе с одного конца, он решил подступить с другого.

Тут нечего было ожидать помощи от сословия повитух, которые не любят сворачивать с проторенного пути, – не удивительно, что отец склонился в пользу человека науки, с которым ему легче было столкнуться.

Из всех людей на свете доктор Слуп был наиболее подходящим для целей моего отца; – ибо хотя испытанным его оружием были недавно изобретенные им щипцы, являвшиеся, но его утверждению, самым надежным инструментом для помощи при родах, – однако он, по-видимому, обронил в своей книге несколько слов в пользу вещи, которая так сильно занимала воображение моего отца; – правда, говоря об извлечении младенца за ноги, он имел в виду не благо души его, которое предусматривала теория моего отца, – а руководился чисто акушерскими соображениями.

Сказанного будет достаточно для объяснения коалиции между отцом и доктором Слупом в дальнейшем разговоре, который довольно резко направлен был против дяди Тоби. – Каким образом неученый человек, руководясь только здравым смыслом, мог устоять против двух объединившихся мужей науки, – почти непостижимо. – Вы можете строить на этот счет догадки, если вам угодно, – и раз уж воображение ваше разыгралось, вы можете еще больше его прищипорить и предоставить ему открыться, в силу каких причин и действий, каких законов природы могло случиться, что дядя Тоби обязан был своей стыдливостью ране в паху. – Вы можете построить какую угодно гипотезу для объяснения потери мной носа по причине брачного договора между моими родителями – и показать миру, как могло случиться, что мне выпало несчастье называться Тристрамом, наперекор гипотезе моего отца и желанию всей нашей семьи, не исключая крестных отцов и матерей. – Все эти еще не распутанные вопросы, наряду с пятью десятками других, вы можете попытаться решить, если у вас есть время; – но я заранее говорю вам, что это будет напрасный труд, – ибо ни мудрый Алкиз, волшебник из Дона Бельяниса Греческого, ни не менее знаменитая Урганда^[125], его волшебница жена (если бы они были живы) не могли бы и на милую подойти к истине.

Пусть поэтому читатель соизволит подождать полного разъяснения всех этих вопросов до будущего года, – когда откроется ряд вещей, о которых он и не подозревает.

Том третий

Multitudinis imperitae non formido judicia; meis tamen, rogo, parcant opusculis – in quibus fuit propositi semper, a jocos ad seria, a seriis vicissim ad jocos transire.

*Ioan. Saresberiensis,
Episcopus Lugdun^[126]*

Глава I

– Желал бы я, доктор Слоп, – проговорил дядя Тоби (повторяя доктору Слопу свое желание с большим жаром и живостью, чем он его выразил в первый раз)^[127], – желал бы я, доктор Слоп, – проговорил дядя Тоби, – чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии.

Желание дяди Тоби оказало доктору Слопу дурную услугу, чего никогда и в помыслах не было у моего дяди, – – – оно его смутило, сэр, – мысли доктора сперва смешались, потом обратились в бегство, так что он был совершенно бессилён снова их собрать.

Во всяких спорах, – между мужчинами или между женщинами, – касаются ли они чести, выгоды или любви, – ничего нет опаснее, мадам, желания, приходящего вот так нечаянно откуда-то со стороны. Самый верный, вообще говоря, способ обессилить такое адресованное вам желание состоит в том, чтобы сию же минуту встать на ноги – и, в свою очередь, пожелать *желателю*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Том I

1.

(стр. 7)

Людей страшат не дела, а лишь мнения об этих делах (греч.).

*

Эпиграф (ταρασσει τους...) заимствован Стерном у философа-стоика Эпиктета (I в. до н. э.) из книги «ἑγχειρισιον» («Руководство»), гл. V.

2.

(стр. 7)

Досточтимому мистеру Питту. – Посвящение Питту написано было Стерном для второго издания первых двух томов «Тристрама» по приезде его в Лондон в марте 1760 г. Вильям Питт Старший (1708-1778) был тогда военным министром и главным организатором английских сил в Семилетнюю войну (1756-1763).

3.

(стр. 8)

Жизненные души. – Понятие это мы встречаем уже в античной физиологической психологии, у перипатетиков и стоиков. В XVII и XVIII вв. оно получило широкое распространение благодаря французскому философу Декарту и его последователям, согласно которым жизненные души являются тончайшей газообразной материей, циркулирующей в крови и в нервной системе.

4.

(стр. 9)

Гомункул – человек; в обычном словоупотреблении – искусственный человек, которого алхимики (особенно Парацельс) мечтали создать лабораторным путем. Сводку всего, что было сказано о гомункуле, Стерн мог прочесть в примечаниях к поэме «Гудибрас» Сэмюэля Батлера, составленных кембриджским «ученым» Захарией Греем.

5.

(стр. 9)

Туллий – Марк Туллий Цицерон, римский политический деятель и оратор (106-43 до н. э.).

6.

(стр. 9)

Пуффендорф Самуил (1632-1694) – немецкий юрист, автор книги «De jure naturali et gentium» («О праве естественном и международном») и «De officio hominis et civis» («Об обязанностях человека и гражданина»), в которых он устанавливает нормы естественного права, освобождая его от философской схоластики.

7.

(стр. 11)

«*Путь паломника*» – аллегорическое произведение Джона Беньяна (1628-1688), английского сектанта-проповедника. В конце XVII и в XVIII в. оно пользовалось в Англии огромной популярностью.

8.

(стр. 11)

Монтень Мишель (1533-1592) – французский писатель, автор «Опытов», книги наблюдений и размышлений, имевшей большое влияние на Стерна.

9.

(стр. 11)

Ab ovo (лат.) – от яйца, от зародыша – выражение Горация в «*Ars poetica*», подразумевавшего яйцо Леды, из которого вышла Елена. Гораций хвалит Гомера за то, что он приступает прямо к делу, а не начинает своего повествования с рождения его героини.

10.

(стр. 11)

Наоборот (лат.).

11.

(стр. 11)

Локк Джон (1632-1704) – английский философ, автор книги «Опыт о человеческом разуме». Психологическое учение Локка явилось одной из существенных предпосылок художественного метода Стерна, несмотря на ряд иронических его высказываний об этом философе.

12.

(стр. 12)

Вестминстерская школа – одно из старейших аристократических учебных заведений Англии (основано в XVI в.).

13.

(стр. 14)

О славный день! (лат.)

14.

(стр. 15)

Дидий. – Под этим именем Стерн выводит Йоркского юриста, доктора Топема, который вел дела местного духовенства (архиепископа и соборного капитула) и с которым у Стерна произошло столкновение.

15.

(стр. 15)

Кунастрокий. – Стерн намекает на весьма популярного в первой половине XVIII в. лондонского врача Ричарда Мида (1673-1754).

16.

(стр. 16)

О вкусах не спорят (лат.).

17.

(стр. 17)

На всем в целом (франц.).

18.

(стр. 17)

Додсли Джемс (1724-1797) – лондонский книгопродавец-издатель, с которым 8 марта 1760 г. Стерн заключил договор на второе издание первых двух томов «Тристрама Шенди».

19.

(стр. 17)

Кунигунда – героиня философского романа Вольтера «Кандид», вышедшего в 1759 г.

20.

(стр. 18)

Приключение с ингуасскими погонщиками – рассказано в XV гл. первой части «Дон Кихота».

21.

(стр. 18)

С золотой ниткой (франц.).

22.

(стр. 19)

О суетности мира и быстротечности жизни (лат.).

23.

(стр. 19)

В течение года в среднем (лат.).

24.

(стр. 20)

Греческий огонь – зажигательная смесь, употреблявшаяся в морских войнах VII-XV вв.

25.

(стр. 22)

Саксон Грамматик – автор полуполюгендарной истории Дании, живший во второй половине XII в.

26.

(стр. 23)

Своенравности (франц.).

27.

(стр. 23)

Сумятица (франц.).

28.

(стр. 23)

Один французский остроумец. – Как обнаружил Маркс (письмо Энгельсу от 26 июня 1869 г., К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 32, стр. 261), остроумцем этим является Ларош-фуко (1613-1680), автор сборника «Максимы и моральные размышления». В подлиннике это определение читается так: «La gravité est un mystère du corps, inventé pour cacher les défauts de l'esprit». (267-я максима).

29.

(стр. 23)

Остротой (франц.).

30.

(стр. 25)

Схолиаст – толкователь древних текстов.

31.

(стр. 25)

Евгений. – Под этим именем Стерн выводит как в «Тристраме Шенди», так и в «Сентиментальном путешествии» своего приятеля Холла-Стивенсона, с которым он подружился, еще будучи студентом Кембриджского университета. Холл, человек весьма эксцентричный, любил бросать вызов английскому лицемерию и чопорности. В его замке собирался кружок веселых людей, «бесноватых», в число которых входил и Стерн. В своем романе он иронически наделяет Евгения «благоразумием».

32.

(стр. 26)

Хохотал весь стол. – «Гамлет», акт V, сц. 1. Пер. М. Лозинского.

33.

(стр. 28)

Рапсодическое произведение. – Стерн употребляет здесь слово «рапсодический», имея в виду пестроту и разносоставность своего романа, сшитого из отдельных самостоятельных кусков, так как слово «рапсод», – согласно античному толкованию, значит: «сшиватель песен».

34.

(стр. 31)

Женщина, независимая от своего мужа в отношении имущественном (франц.).

35.

(стр. 31)

Сколько бы раз это ни повторялось (лат.).

36.

(стр. 34)

Маннингем Ричард (1690-1759) – лондонский врач-акушер, издавший в 1740 г. «Компендий акушерского искусства».

37.

(стр. 34)

Ученый хирург – Йоркский врач и археолог, доктор Джон Бертон (1710-1771), издавший в 1751 г. руководство под заглавием «Опыт совершенно новой системы акушерства». В качестве лидера Йоркских тори он был политическим противником Стерна; особенно острые столкновения между ними происходили в 1741 г. во время парламентских выборов, когда Стерн писал в местных газетах агитационные статьи в пользу кандидатов партии вигов. В «Тристраме» Стерн вывел его в карикатурном образе доктора Слопа.

38.

(стр. 35)

Замки (франц.).

39.

(стр. 35)

Роберт Фильмер (ум. в 1653 г.) – английский политический писатель, развивавший теорию божественного происхождения королевской власти и наследственной монархии.

40.

(стр. 37)

Ники и Симкин – пренебрежительно-уменьшительные от имен Никлас и Саймон.

41.

(стр. 37)

Довод к личности (лат.), то есть обращенный к убеждениям и предрассудкам лица, которому хотят что-нибудь доказать.

42.

(стр. 38)

Наученный богом (греч.).

43.

(стр. 38)

Цицерон, Квинтилиан, Исократ, Аристотель и Лонгин – общественные деятели, ораторы и ученые древних Рима и Греции, приведены здесь в качестве авторов, писавших об ораторском искусстве. Сочинение «De oratore» принадлежит не Квинтилиану, а Цицерону.

44.

(стр. 38)

Фоссий, Скиоптий (Шопп, Гаспар), Рам (Пьер ла Раме) и Фарнеби – филологи XVI и XVII вв., оставившие руководства по грамматике и риторике.

45.

(стр. 38)

Довод, рассчитанный на невежество (лат.).

46.

(стр. 38)

Да здравствует дурачество (франц.).

47.

(стр. 39)

Нампс – уменьшительное от Хамфри; *нампс* – болван; *Ник* – уменьшительное от Никлас, а также – черт, леший.

48.

(стр. 39)

В природе вещей (лат.).

49.

(стр. 39)

Эпифонема, *эротесис* – риторические фигуры: первая – сентенциозное восклицание, заключающее речь, второй – риторический вопрос, то есть вопрос, предполагающий отрицательный ответ.

50.

(стр. 40)

«*Паризм*» и «*Паризмен*» – романы английского писателя Э. Форда (1598 и 1599) о принце божемском, материалом которых воспользовался Шекспир в «Зимней сказке».

51.

(стр. 40)

«*Семь английских героев*» – Стерн, вероятно, имеет в виду «Семь героев христианства» – средневековое сказание о семи христианских «просветителях» (Андрее, Иакове, Патрике и т. д.).

52.

(стр. 40)

Римские церковные обряды предписывают в опасных случаях крещение ребенка до его рождения, – но под условием, чтобы какая-нибудь часть тела младенца была видима крестящему. – – – Однако доктора Сорбонны на совещании, происходившем 10 апреля 1733 года. – расширили полномочия повивальных бабок, постановив, что даже если бы не показалось ни одной части тела младенца, – – – крещение тем не менее должно быть совершено над ним при помощи впрыскивания – *par le moyen d'une petite canule*, – то есть шприца. – Весьма странно, что святой Фома Аквинат*, голова которого так хорошо была приспособлена как для завязывания, так и для развязывания узлов схоластического богословия, – принужден был, после того как на решение этой задачи было положено столько трудов, – в заключение отказаться от нее, как от второй *chose impossible*. – «*Infantes in maternis uteris existentes (рек святой Фома) baptizari possunt nullo modo*»**). – Ах, Фома, Фома!

Если читатель любопытствует познакомиться с вопросом о крещении при помощи впрыскивания, как он представлен был докторами Сорбонны, – вместе с их обсуждением его, – то он найдет это в приложении к настоящей главе. – *Л. Стерн.*

(i)

(стр.)

Фома Аквинат (Аквинский; 1226-1274) – богослов-схоласт, до сих пор являющийся для католиков непререкаемым авторитетом в вопросах богословия и философии.

(ii)

(стр.)

Дети, находящиеся в утробе матери, никаким способом не могут быть окрещены (лат.).

53.

(стр. 40)

Vide Deventer, Paris Edit. in 4° t°, 1734, p. 366. – Л. Стерн. См. Девентер*, Париж, изд. ин кварто, 1734 г., стр. 366.

(iii)

(стр.)

Девентер Генрих (ум. в 1739 г.) – голландский врач, книга которого по акушерству была переведена на французский язык. Из этой книги Стерн и позаимствовал нижеприведенный документ.

54.

(стр. 42)

Докладная записка, представленная господам докторам Сорбонны. Некий лекарь-акушер докладывает господам докторам Сорбонны, что бывают случаи, правда очень редкие, когда мать не в состоянии разрешиться от бремени, – и бывает даже, что младенец так закупорен в утробе своей матери, что не показывает ни одной части своего тела, в каковых случаях, согласно церковным уставам, было бы позволительно совершить над ним крещение, по крайней мере, условно. Пользующий лекарь утверждает, что при помощи шприца можно непосредственно крестить младенца без всякого вреда для матери. – Он спрашивает, является ли предлагаемое им средство позволительным и законным и может ли он им пользоваться в вышеизложенных случаях.

Ответ. Совет полагает, что предложенный вопрос сопряжен с большими трудностями. Богословы принимают, с одной стороны, за основоположение, что крещение, каковое является рождением духовным, предполагает рождение первоначальное; согласно их учению, надо родиться на свет, дабы возродиться в Иисусе Христе. Св. Фома, 3-я часть, вопр. 88, ст. 11, следует этому учению как непреложной истине: нельзя, – говорит сей ученый, сей святой доктор, – крестить младенцев, заключенных в утробе матери; св. Фома основывается на том, что неродившиеся младенцы не могут быть причислены к людям; откуда он заключает, что они не могут быть предметом внешнего воздействия, чтобы принимать через посредство других людей таинства, необходимые для спасения. «Младенцы, в утробе матери пребывающие, еще не появились на свет, дабы вести жизнь с другими людьми, а посему они не могут подвергаться воздействию людей и через их посредство принимать таинство во спасение». Церковные уставы предписывают на практике то, что определено богословами (относительно этих вещей), а последние все одинаково запрещают крестить младенцев, заключенных в утробе матери, если нельзя было увидеть какую-нибудь часть их тела. Единомыслие богословов и церковных уставов, полагаемых за правило в епархиях, представляет такой авторитет, что им, по-видимому, решается настоящий вопрос. Однако же Духовный совет, принимая во внимание, с одной стороны, что рассуждение богословов основано единственно на соблюдении благовидности и что запрещение церковных уставов исходит из того, что нельзя непосредственно крестить младенцев, заключенных в утробе матери, что идет вразрез с настоящим предположением; а с другой стороны, принимая во внимание, что те же богословы говорят о возможности совершать наудачу таинства, установленные Иисусом Христом, как легкие, но необходимые средства для освящения людей; и кроме того, считая, что младенцы, заключенные в утробе матери, могут получить спасение, потому что они могут быть осуждены на вечные муки; – по этим сообра-

жениям и ввиду представленного доклада, в котором заверяется, что найдено верное средство крестить заключенных таким образом младенцев без всякого вреда для матери, Совет полагает возможным пользоваться предложенным средством, в уповании, что бог не оставил этого рода младенцев без всякой помощи, и полагая, как в означенном докладе сказано, что средство, о котором идет речь, способно обеспечить совершение над ними таинства; со всем тем, поскольку дозволить применение предложенного средства значило бы изменить повсеместно установленный порядок, то Совет считает, что пользующийся лекарь обязан обратиться к своему епископу, коему и подобает судить о пригодности или об опасности предложенного средства, и так как Совет полагает, что, с соизволения епископа, следовало бы обратиться к папе, коему принадлежит право изъяснять уставы церкви и от них отступать в тех случаях, когда закон не может иметь обязательной силы, то сколь бы ни казался разумным и полезным способ крещения, о коем идет речь, Совет был бы не вправе его одобрить без согласия обеих названных властей. Во всяком случае, можно посоветовать пользующему лекарю обратиться к своему епископу и сообщить ему настоящие решения и, буде названный прелат согласится с доводами, на кои опираются нижеподписавшиеся доктора, считать лекаря полномочным во всех тех случаях, когда было бы слишком опасно ждать, пока будет испрошено и дано позволение употребить предлагаемое им средство, столь благоприятное для спасения младенца. Впрочем, Совет, допуская возможность пользоваться названным средством, полагает, однако, что, буде младенцы, о коих идет речь, появились бы на свет вопреки ожиданию тех, кои воспользовались бы названным средством, то их надлежало бы окрестить условно, в каковом своем мнении Совет сообразуется со всеми церковными уставами, кои, дозволяя крещение младенца, показывающегося наружу частью своего тела, предписывают тем не менее и наказывают окрестить его условно, буде он счастливо появится на свет.

Подвергнуто обсуждению в Сорбонне, 10 апреля 1733 года.

А. ле Муан, Л. де Ромины, де Марсильи.

55.

(стр. 42)

Условно (франц.).

56.

(стр. 42)

Посредством шприца и не причиняя ущерба отцу (франц.).

57.

(стр. 43)

Вершину (греч.).

58.

(стр. 45)

Осада Намюра – эпизод из войн Англии с Францией, которые велись в конце XVII и в начале XVIII в. за гегемонию в Европе. Намюр, крепость во Фландрии (нынешняя Бельгия), был взят англичанами и их союзниками – голландцами 27 мая 1795 г.

59.

(стр. 45)

Платон – мне друг (лат.).

60.

(стр. 45)

Но еще больший друг мне истина (лат.).

61.

(стр. 46)

Перед судом науки (лат.).

62.

(стр. 46)

Лиллибуллиро – припев к сатирической балладе, сочиненной в 1688 г. Томасом Вортоном, одним из лидеров партии вигов, по случаю назначения наместником Ирландии католика Тирконнеля, задачей которого было реорганизовать расположенную там армию, заменив в ней англичан (протестантов) католиками – ирландцами. Король Иаков II рассчитывал создать таким образом силу, на которую он мог бы опираться в борьбе за утверждение абсолютизма в Англии, и тем сделал свое мероприятие вдвойне ненавистным для англичан. – Баллада Вортона, положенная на музыку известным композитором Перселом, который воспользовался мотивом старинной ирландской детской песенки, приобрела в Англии, особенно в английской армии, широкую популярность и была у всех на устах во время низложения и изгнания короля Иакова II в конце 1688 г.; насвистывание дядей Тоби «Лиллибуллиро» – очень меткий штрих для характеристики ветерана войн Вильгельма Оранского, сменившего на английском престоле Иакова II. – Бессмысленное слово «лиллибуллиро» было, говорят, паролем ирландских повстанцев в 1641 г.

63.

(стр. 46)

Довод к совестливости, приведение к нелепости, необходимость признать сильнейший довод (лат.).

64.

(стр. 46)

Искусство логики (лат.).

65.

(стр. 46)

Свистательный довод (лат.).

66.

(стр. 46)

Палочный довод (лат.).

67.

(стр. 46)

Довод при помощи кошелька (лат.).

68.

(стр. 46)

Довод таганом (лат.).

69.

(стр. 46)

Вещественный довод (лат.).

70.

(стр. 47)

Джозеф Холл (1574-1656) – епископ Эксетерский, моралист и сатирик, был одним из любимых писателей Стерна. Стерн немало от него позаимствовал – как в «Тристраме», так и в своих проповедях.

71.

(стр. 49)

Согласно предложению лукавого критика Мома. – Мом – бог насмешки и злословия в греческой мифологии. Стерн намекает здесь на диалог «Гермотим» Лукиана, греческого писателя II в. н. э.

72.

(стр. 49)

Оконный сбор – налог, взимавшийся в Англии до 1851 г. с каждого дома по числу окон, выходящих на улицу.

73.

(стр. 49)

Для народа, то есть для широкого читателя (лат.).

74.

(стр. 50)

Non naturalia – термин старой английской медицины; так назывались в ней внешние условия жизни и здоровья, не заложенные в природе тела, как-то: воздух, пища и питье, движение и покой и т. п.

75.

(стр. 50)

Пентаграф – прибор для механического копирования гравюр и картин в любых пропорциях. – *Л. Стерн.*

76.

(стр. 51)

От Йорка до Дувра, – от Дувра до Пензенса в Корнуэльсе и от Пензенса обратно до Йорка... – то есть от одного конца Англии до другого.

77.

(стр. 52)

Лобковая кость (лат.).

78.

(стр. 52)

Бедренная кость (лат.).

79.

(стр. 52)

Подвздошная кость (лат.).

Том II

80.

(стр.)

Эпиграф – [см. прим. к стр. 25.](#)

81.

(стр.)

История войн короля Вильгельма. – Как в настоящее время установлено, основным источником Стерна при описании многочисленных эпизодов из англо-французских войн конца XVII и начала XVIII в. была «История Англии» Рапена де Туара, переведенная с французского и продолженная от революции 1688 г. до вступления на престол короля Георга II (1727) Николаем Тиндалем. Книга эта содержит много иллюстраций, карт и планов городов, в частности план города Намюра, который играет такую большую роль в «Тристраме». Описывая сражения, в которых участвовал дядя Тоби, Стерн часто заимствует оттуда, слегка перефразируя, целые пассажи.

82.

(стр.)

Доктор Джеймс Макензи. (1680-1761) – опубликовал в 1758 г. книгу под заглавием «История здоровья и искусство его сохранения».

83.

(стр.)

Это был бы бранный ответ. – Здесь намек на то место комедии Шекспира «Как вам это понравится», где Оселок характеризует различные степени опровержения (акт V, сц. 4). Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

84.

(стр.)

Мальбрании Николай (1638-1725) – французский философ, последователь Декарта.

85.

(стр.)

Артур – один из старейших лондонских игорных клубов.

86.

(стр.)

Сущность и субстанция (ипостась) (греч.).

87.

(стр.)

Гобезий (Леонард Гобезий?), Агостино *Рамолли*, Джироламо *Катанео*, Симон *Стевин*, *Маролис* (Самюэль Маролуа), *шевалье де Виль*, *Лорини*, барон *ван Коегорн* (укрепивший Намюр), Иоганн-Бернард *фон Шейтер*, *граф де Паган*, Себастьян Ле Претр *де Вобан*, Франсуа *Блондель* – фламандские, итальянские, голландские, немецкие и французские математики, инженеры и архитекторы XVI, XVII и XVIII вв., авторы книг по фортификации и баллистике. Гениальный физик Галилео *Галилей* (1564-1642) вместе со своим учеником Эванджелиста

Торричелли (1608-1647) приведены здесь в качестве ученых, установивших законы параболического движения тел.

88.

(стр.)

С крупницей соли, то есть иносказательно (лат.).

89.

(стр.)

Мосье Ронжа. – Тиндаль (см. [прим. к стр. 88](#)) отмечает в своей книге, что этот хирург вправлял королю Вильгельму III ключицу после оказавшегося роковым для последнего падения с лошади.

90.

(стр.)

Сражение при Ландене – происходило 29 июля 1693 г.

91.

(стр.)

Ихнография – изображение какой-нибудь постройки в горизонтальном плане.

92.

(стр.)

Немного больше и немного меньше (итал.).

93.

(стр.)

И так далее (лат.).

94.

(стр.)

Идея длительности и простых ее модусов. – См. Локк, Опыт, кн. II, гл. 14.

95.

(стр.)

«*Анализ Красоты*» (1753) – книга знаменитого английского художника Вильяма Хогарта (1697-1764), иллюстрировавшего «Тристрама Шенди», по просьбе Стерна, двумя гравюрами.

96.

(стр.)

Вистон Вильям (1667-1752) – математик, астроном и богослов, последователь Ньютона.

97.

(стр.)

Пресушествление – претворение одного вещества в другое; намек на католическое учение, согласно которому хлеб и вино претворяются во время таинства евхаристии в тело и кровь Христа.

98.

(стр.)

Сенсорий – буквально: чувствилище – часть нервной системы, являющаяся средоточием ощущений.

99.

(стр.)

Стевин. – См. [прим. к стр. 93-94.](#)

100.

(стр.)

Люцина – богиня родов у древних римлян (букв.: дающая свет жизни).

101.

(стр.)

Пилуми – бог, сохранявший дома, где были новорожденные.

102.

(стр.)

Куртинами и горнверками. – Непереводимая игра слов; эти фортификационные термины означают также: первое – занавеску, второе – супружескую измену.

103.

(стр.)

Деннис Джон (1657-1734) – английский поэт и критик.

104.

(стр.)

Дю Канж Шарль (1610-1688) – французский филолог, автор монументального словаря средневековой латыни, из которого заимствовано это слово (*sortina*).

105.

(стр.)

Словесные науки (лат.).

106.

(стр.)

...эту горячность, она досталась мне от матери. – Шекспир, Юлий Цезарь, акт IV, сц. 3.

107.

(стр.)

Принц Мориц Оранский, граф Нассау (1567-1625) – голландский штатгальтер, выдающийся полководец.

108.

(стр.)

Пейреския (Переск) Никола-Клод (1580-1637) – французский ученый-филолог.

109.

(стр.)

Получил бы алебарду – то есть был бы произведен в сержанты.

110.

(стр.)

Проповедь эта была произнесена Стерном в Йоркском соборе 27 июля 1750 г. и тогда же издана отдельной брошюрой.

111.

(стр.)

Темпль – группа зданий в Лондоне, на берегу Темзы, сосредоточенных вокруг старинного храма рыцарей ордена тамплиеров (храмовников). В Темпле помещаются некоторые судебные учреждения. Свою проповедь Стерн прочел для членов выездной сессии суда присяжных.

112.

(стр.)

Конец (лат.).

113.

(стр.)

Маны (римск. мифол.) – души или тени умерших.

114.

(стр.)

Самовластно (франц.).

115.

(стр.)

Зенон и *Хрисипп* – философы-стоики III в. до н. э., которым приписывается изобретение соритов, то есть сложных силлогизмов приведенного здесь типа.

116.

(стр.)

Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать (лат.).

117.

(стр.)

Кольонисимо Борри Джузепе-Франческо (1627-1695) – миланский алхимик-шарлатан (*coglionissimo* значит по-итальянски «глупейший»); *Бертолини* Томазо (1616-1686) – профессор анатомии в Копенгагене.

118.

(стр.)

Продолговатый мозг (лат.).

119.

(стр.)

Причина, без которой не... (лат.).

120.

(стр.)

Автор допускает здесь две ошибки, так как вместо *Lithopaedus* надо было написать: *Lithopaedii Senonensis Icon*.^{*} Вторая его ошибка та, что *Lithopaedus* совсем не автор, а рисунок окаменелого ребенка. Сообщение о нем, опубликованное Альбозием в 1580 году, можно прочитать в конце произведений Кордеуса в Спахии. Мистер Тристрам Шенди впал в эту ошибку либо потому, что увидел имя *Lithopaedus* в перечне ученых авторов в недавно вышедшем труде доктора – – либо смешав *Lithopaedus* с *Trinacavellius*, – что так легко могло случиться вследствие очень большого сходства этих имен. – *Л. Стерн*.

(iv)

(стр.)

Lithopaedus Senonensis Icon. – В этом юмористическом примечании Стерн намекает на полемику между двумя гинекологами: доктором Вильямом Смелли из Глазго (Стерн его называет Адрианом Смелфготом) и доктором Дж. Бертоном (Слопом). Бертон изобличил своего собрата в том, что тот превратил рисунок (*icon*) окаменелого ребенка (*lithopaedus* – сочетание греческих слов: «камень» и «ребенок») из одного старинного медицинского трактата в никогда не существовавшего ученого.

121.

(стр.)

Лобковая кость (лат.).

122.

(стр.)

Копчиковая кость (лат.).

123.

(стр.)

Гермес Трисмегист – Гермес трижды величайший. Эпитет этот был дан греками Гермесу, которого они отождествляли с египетским богом Тотом за то, что он считался изобретателем букв и чисел и некоторых полезных искусств.

124.

(стр.)

Эдуард VI (1537-1553) – английский король, умерший шестнадцати лет.

125.

(стр.)

Алкиз (Алькифа) и *Урганда* – волшебники из испанских рыцарских романов «Вельянис Греческий» и «Амадис Галльский», упоминаемых Сервантесом в первых главах «Дон Кихота».

Том III

126.

(стр.)

Я не страшусь суждения людей несведущих; но все же прошу их щадить мои писания – в которых намерением моим всегда было переходить от шуток к серьезному и обратно – от серьезного к шуткам. – Иоанн Сольсберийский*, епископ Лионский (лат.).

(v)

(стр.)

Иоанн Сольсберийский (1110-1180) – английский философ, политический деятель и поэт.

127.

(стр.)

См. [т. II, стр. 140](#). – Л. Стерн.

Том VII

(xv)

Плиний Младший (62-114) – римский администратор и писатель, прославившийся своими письмами, которые дошли до нас собранными в девять книг.

Том II

80..

Эпиграф – см. прим. к стр. 25.

81..

История войн короля Вильгельма. – Как в настоящее время установлено, основным источником Стерна при описании многочисленных эпизодов из англо-французских войн конца XVII и начала XVIII в. была «История Англии» Рапена де Туара, переведенная с французского и продолженная от революции 1688 г. до вступления на престол короля Георга II (1727) Николаем Тиндалем. Книга эта содержит много иллюстраций, карт и планов городов, в частности план города Намюра, который играет такую большую роль в «Тристраме». Описывая сражения, в которых участвовал дядя Тоби, Стерн часто заимствует оттуда, слегка перефразируя, целые пассажи.

82..

Доктор Джемс Макензи. (1680-1761) – опубликовал в 1758 г. книгу под заглавием «История здоровья и искусство его сохранения».

83..

Это был бы бранный ответ. – Здесь намек на то место комедии Шекспира «Как вам это понравится», где Оселок характеризует различные степени опровержения (акт V, сц. 4). Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

84..

Мальбранш Николай (1638-1725) – французский философ, последователь Декарта.

85..

Артур – один из старейших лондонских игорных клубов.

86..

Сущность и субстанция (ипостась) (греч.).

87..

Гобезий (Леонард Гобезий?), Агостино Рамолли, Джироламо Катанео, Симон Стевин, Маролис (Самюэль Маролюа), шевалье де Виль, Лорини, барон ван Коегорн (укрепивший Намюр), Иоганн-Бернард фон Шейтер, граф де Паган, Себастьян Ле Претр де Вобан, Франсуа Блондель – фламандские, итальянские, голландские, немецкие и французские математики, инженеры и архитекторы XVI, XVII и XVIII вв., авторы книг по фортификации и баллистике. Гениальный физик Галилео Галилей (1564-1642) вместе со своим учеником Эванджелиста Торричелли (1608-1647) приведены здесь в качестве ученых, установивших законы параболического движения тел.

88..

С крипцией соли, то есть иносказательно (лат.).

89..

Мосье Ронжа. – Тиндаль (см. прим. к стр. 88) отмечает в своей книге, что этот хирург вправлял королю Вильгельму III ключицу после оказавшегося роковым для последнего падения с лошади.

90..

Сражение при Ландене – происходило 29 июля 1693 г.

91..

Ихнография – изображение какой-нибудь постройки в горизонтальном плане.

92..

Немного больше и немного меньше (итал.).

93..

И так далее (лат.).

94..

Идея длительности и простых ее модусов. – См. Локк, Опыт, кн. II, гл. 14.

95..

«Анализ Красоты» (1753) – книга знаменитого английского художника Вильяма Хогарта (1697-1764), иллюстрировавшего «Тристрама Шенди», по просьбе Стерна, двумя гравюрами.

96..

Вистон Вильям (1667-1752) – математик, астроном и богослов, последователь Ньютона.

97..

Пресуществление – претворение одного вещества в другое; намек на католическое учение, согласно которому хлеб и вино претворяются во время таинства евхаристии в тело и кровь Христа.

98..

Сенсорий – буквально: чувствилище – часть нервной системы, являющаяся средоточием ощущений.

99..

Стевин. – См. прим. к стр. 93-94.

100..

Люцина – богиня родов у древних римлян (букв.: дающая свет жизни).

101..

Пилумн – бог, сохранявший дома, где были новорожденные.

102..

Куртинами и горнверками. – Непереводаемая игра слов; эти фортификационные термины означают также: первое – занавеску, второе – супружескую измену.

103..

Деннис Джон (1657-1734) – английский поэт и критик.

104..

Дю Канж Шарль (1610-1688) – французский филолог, автор монументального словаря средневековой латыни, из которого заимствовано это слово (cortina).

105..

Словесные науки (лат.).

106..

...эту горячность, она досталась мне от матери. – Шекспир, Юлий Цезарь, акт IV, сц. 3.

107..

Принц Мориц Оранский, граф Нассау (1567-1625) – голландский штатгальтер, выдающийся полководец.

108..

Пейреския (Переск) Никола-Клод (1580-1637) – французский ученый-филолог.

109..

Получил бы алебарду – то есть был бы произведен в сержанты.

110..

Проповедь эта была произнесена Стерном в Йоркском соборе 27 июля 1750 г. и тогда же издана отдельной брошюрой.

111..

Темпль – группа зданий в Лондоне, на берегу Темзы, сосредоточенных вокруг старинного храма рыцарей ордена темплиеров (храмовников). В Темпле помещаются некоторые судебные учреждения. Свою проповедь Стерн прочел для членов выездной сессии суда присяжных.

112..

Конец (лат.).

113..

Маны (римск. мифол.) – души или тени умерших.

114..

Самовластно (франц.).

115..

Зенон и Хрисипп – философы-стоики III в. до н. э., которым приписывается изобретение соритов, то есть сложных силлогизмов приведенного здесь типа.

116..

Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать (лат.).

117..

Кольонисимо Борри Джузепе-Франческо (1627-1695) – миланский алхимик-шарлатан (coglionissimo значит по-итальянски «глупейший»); Бертолини Томазо (1616-1686) – профессор анатомии в Копенгагене.

118..

Продолговатый мозг (лат.).

119..

Причина, без которой не... (лат.).

120..

Автор допускает здесь две ошибки, так как вместо *Lithopaedus* надо было написать: *Lithopaedii Senonensis Icon*.[*] Вторая его ошибка та, что *Lithopaedus* совсем не автор, а рисунок окаменелого ребенка. Сообщение о нем, опубликованное Альбозием в 1580 году, можно прочитать в конце произведений Кордеуса в Спахии. Мистер Тристрам Шенди впал в эту ошибку либо потому, что увидел имя *Lithopaedus* в перечне ученых авторов в недавно вышедшем труде доктора – либо смешав *Lithopaedus* с *Trinescavellius*, – что так легко могло случиться вследствие очень большого сходства этих имен. – Л. Стерн.

(iv).

Lithopaedus Senonensis Icon. – В этом юмористическом примечании Стерн намекает на полемику между двумя гинекологами: доктором Вильямом Смелли из Глазго (Стерн его называет Адрианом Смелфготом) и доктором Дж. Бертоном (Слопом). Бертон изобличил своего собрата в том, что тот превратил рисунок (*icon*) окаменелого ребенка (*lithopaedus* – сочетание греческих слов: «камень» и «ребенок») из одного старинного медицинского трактата в никогда не существовавшего ученого.

121..

Лобковая кость (лат.).

122..

Копчиковая кость (лат.).

123..

Гермес Трисмегист – Гермес трижды величайший. Эпитет этот был дан греками Гермесу, которого они отождествляли с египетским богом Тотом за то, что он считался изобретателем букв и чисел и некоторых полезных искусств.

124..

Эдуард VI (1537-1553) – английский король, умерший шестнадцати лет.

125..

Алкиз (Алькифа) и Урганда – волшебники из испанских рыцарских романов «Вельянис Греческий» и «Амадис Галльский», упоминаемых Сервантесом в первых главах «Дон Кихота».